

Перч Зейтунця

САМЫЙ ГРУСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ОТ АВТОРА

Каждое столетие имеет своего самого человека — самого гениального, самого отчаянного, самого потешного, самого остроуслова, самого сорвиголову или же, к примеру, самого знаменитого своего долгожителя, словом — самого, самого, самого... Мне бы очень хотелось рассказать о человеке самом радостном, ведь все мы, как я заметил, предпочитаем радостные истории. Что вполне резонно. Но мне так и не удалось определить, кто же самый радостный человек века, а искать попросту радостного — по-моему, это уже не так интересно. Вот почему я пока откладываю в сторону свое намерение. Вместо этого я расскажу вам о самом грустном человеке нашего столетия. Найти его, представьте, оказалось делом нетрудным. Среди читателей этой книги тоже, очевидно, найдется человек, самый печальный среди нас.

История наша документальная. Герой повествования Роберт Страуд — лицо реальное. Реальны и события, происходящие с ним. Поначалу автор оставался настолько верным фактам, что документальная эта история перестала внушать доверие и стала походить на сказку. И тогда автор решил сыграть в обратную — он написал современную сказку, взяв в основу факты.

Основной сюжет и герой остались прежними, но автор позволил себе многое обыграть, изменить, обратить в гротеск, а разные мелкие подробности отместить за ненадобностью. И только так, на наш взгляд, удалось создать вещь, более или менее документальную. Во всяком случае, автор надеется, что рассказ этот будет воспринят читателем серьезно и с достаточной верою, потому что автора и читателя намерение — идти по следам только и только истины, а не ее подобия. Вы увидите здесь знакомые лица. Так как «все мелкие всемирно-исторические события и личности появляются дважды: в первый раз как трагедия, во второй — как фарс».

Действие происходит в стране Алякатраз. Не ищите ее на карте, вы там ее все равно не найдете. А даты вот указаны точные, что, впрочем, вовсе несущественно. И достоверен, безусловно, достоверен век. Что, конечно, весьма существенно.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Боб Страуд частенько заходил к Гее. Раза четыре, а то и пять на неделе. В остальные же дни он не шел туда не потому, что был занят, а просто боялся, что надоест и наскучит ей. Но как было занять пустые, невизитные дни? Это была

целая сложная и запутанная система чисел со своими законами и логикой, этакая длинная таблица, которая человеку непосвященному ничего бы не сказала, но для Страуда была мучительной и требовала огромной энергии и изворотливости. Необходимо было так рассчитать и расположить дни своих посещений, чтобы придать этим посещениям естественный нерассчитанный вид.

Он всего лишь год жил в этом городе. Родом он был из дальней провинции. До приезда в Алькатраз долго скитался по стране, подыскивая себе работу, но, кроме временных сезонных работ, ему ничего не подворачивалось. И вот наконец страна уменьшилась, конкретизировалась, обрела лицо определенного города и даже определенного дома. В Алькатразе его приняли на постоянную работу на фабрику, производящую женские чулки и трикотаж. Он всю жизнь потом не прощал себе, что именно там, а не где-нибудь еще довелось ему работать, до конца жизни все свои несчастья он связывал с этим унижительным фактом.

Когда исполнился ровно год с того дня, как он обосновался в этом городе, он почувствовал, что устал от страудовской своей арифметики, и подумал, что это, верно, хороший признак, мало-помалу он становится мужчиной. Вот тогда-то он и принял решение положить конец всем своим мучениям и очень быстро нашел выход из положения. И даже удивился, как это до сих пор он до этого не додумался. Он тут же направился к Гее, чтобы как можно скорее сообщить ей про свое открытие. Но прежде чем произнести первую и единственную фразу, он окинул взглядом Геину комнату, воображение его лихорадочно заработало, и он вдруг представил, почти что наяву увидел, как в комнату вошли одетые в смокинги двенадцать мужчин, у каждого в руках по стулу. Они расселись вдоль стен и образовали вокруг него и Геи некий квадрат. Он решил, что они так и останутся с ними до самого конца разговора. Бесшумно будут сидеть и мешать им не станут. Корректные и безучастные друг к другу.

— Я пришел предложить тебе, чтобы мы поженились. И тут он увидел, вернее, ему показалось, как одетые в смокинги двенадцать мужчин задвигали стульями и устремились к центру комнаты. Образовавшийся вокруг него и Геи квадрат стал немного меньше. И он решил, что именно так они будут себя вести после каждого поворотного слова его или Геи.

— Вот так, сразу? И что же я должна ответить?

Гея, красивая усталая женщина лет за тридцать, была все время в движении, переставляла что-то в комнате, следила за обедом, приводила в порядок прическу, потом словно машинально повторяла те же действия, в результате чего действия эти начисто лишались своего смысла.

— Я хочу... ну да, я уже сказал... ты согласна?..

— Я согласна, — ответила Гейя, и в голосе ее не было никакого оттенка.

— Ты не веришь? Почему? Я буду хорошим мужем. Самым лучшим мужем на свете. — Страуд кружился по комнате вслед за Геей и от этого еще больше терялся. — Ты будешь меня любить. Если я буду самым лучшим мужем на свете, ты не сможешь не любить меня.

Он был так искренен и так верил своим словам, что ему показалось — отныне никаких неразрешенных вопросов нет и не может быть.

— А почему ты до сих пор ничего не говорил? Не слишком ли много времени прошло, чтобы играть в прятки? — Страуд обрадовался, что в голосе ее появился какой-то оттенок, пусть даже пренебрежительный. — А я уже было поверила, что мужчина и женщина могут быть братом и сестрой. Испортил, все испортил.

— О чем было говорить? — растерялся Страуд. — Ты что же, не понимала разве? Неужели обо всем надо говорить?

— За кого, за кого ты меня принимаешь? Я давно забыла понимать людей по взглядам. По мне — у всех подряд один и тот же взгляд, один и тот же голос, одни и те же мысли. Слова только разные. И я только словам и верю. Да и не то чтобы верю — понимаю. И не понимаю даже, слушаю... — и вдруг монотонно, но с внутренней тревогой начала нанизывать друг за дружкой слова. Страуд от испуга было замер на месте, потому что, произнося эту медленную и стройную лавину предложений, Гея по-прежнему что-то делала и безостановочно двигалась: — В пять часов... сегодня хорошая погода... вечером жди меня... Сигарета есть? Дай...

— Я тебя научу, — взмолился Страуд. — Я сделаю так, что мы будем молчать и понимать друг друга. Я не обещаю тебе ни денег, ни богатства, мы всегда будем без денег. Всегда будем бедными. Но одно я тебе обещаю — молчать и понимать друг друга...

— Если мы будем бедными, мы не сможем молчать и понимать друг друга. Для этого деньги нужны. Если же будем богатыми, опять-таки не сможем, деньги не дадут. Так что выбрось это из головы. И ни с кем ты не сможешь молчать. Залопочешь. Все будешь говорить, говорить, говорить...

— Знаешь, почему ты меня презираешь?.. Потому что я не такой, как остальные. Они мужчины. Времени не теряют. А я каждый день прихожу, ухожу, каждый день решаю быть таким, как они, и не могу... — Он с ненавистью посмотрел на Гею, помолчал минутку, потом вдруг спросил, понизив голос: — А деньги они дают?

— Какие деньги? — напряглась Гея и оторвалась от своих дел.

— Деньги, деньги! За то, что ляжешь с тобой! Деньги дают?

— Конечно. — Гегя старалась казаться спокойной, Страуд почувствовал это и мысленно усмехнулся. — Если кто очень нравится — не беру. Видишь, все как следует. И честность есть. И порядочность и непорядочность, чувствуешь? Все вымерено, все взвешено.

Страуд и сам не понял, почему задал такой вопрос, — чтобы обидеть ее или же действительно чтобы узнать:

— А... у меня возьмешь?

— Наверное, — еще больше напряглась Гегя.

— Сколько? — шепотом спросил Страуд.

— А сколько у тебя есть?

— Нет, ты скажи, сколько...

Не разговор был, а прямо перепляс на острие ножа;

тут были и ненависть, и желание унижить, и нервное любопытство, пожалуй. Гегя стала накрывать стол скатертью, потому что неведомо отчего почувствовала потребность подчеркнуть решительную разницу между ними:

хозяйкой дома и гостем.

— Вот сейчас ты мне нравишься, — улыбнулась Гегя. — Я так и знала. Ночью останешься у меня, утром с удивлением посмотришь кругом, не поймешь, куда попал и кто рядом с тобой лежит. Быстренько кое-как оденешься, молча смоешься. И все будет как надо, шито-крыто.

— А по ночам тебе шепчут на ухо слова?.. — не отставал Страуд. — Что они говорят?..

— Не помню... не обращала внимания.

— Помнишь! Скажи! Я хочу знать!

— Что тебе от меня надо?.. — Гегя разом сникла и поняла, что уже не может прогнать этого парня.

— Нет, ты скажи... Хочу выучить и те же слова говорить... А если вдруг родится мое слово, не скажу... Хочу как они, как все. Говори, чего они тебе шепчут по ночам...

— Видишь, ты все понял. Знаешь, что получится, если женишься на всех женщинах, с кем хочешь переспать, ха-ха!

— Я хочу жениться на тебе...

Слова Страуда неожиданным, странным образом опять прозвучали искренне. Наверное, поэтому двенадцать мужчин вновь задвигали стульями, и квадрат вокруг Геи и Страуда стал еще теснее.

Гея вспомнила посещения Страуда. У нее почти всегда бывали гости, в основном мужчины. Гея в первый же вечер поняла, что девятнадцатилетний Страуд уйдет первым. Обязательно уступит. И она терпеливо ждала, когда же он наконец проявит упорство и останется до конца. Для Геи это ожидание превратилось в своего рода азартную игру с самой собой. Словно она поставила на лошадь, которая приходит все время последней к финишу; ты видишь это, но верить в нее не перестаешь. А Страуд и не подозревал даже о скрытой и своеобразной верности Геи, он чинно сидел за столом, вежливо и старательно поддерживал общую беседу.

— Тебе ведь и не хотелось беседовать, просто ты был вежливым мальчиком, — вдруг взорвалась Гея. — Вежливым, красивеньким... вот таким вот бедным, но хорошо одетым... От тебя знаешь чем несло? Чистотой, честностью... У меня прямо дух спирало... Хотелось обнять тебя, баюкать... грудью кормить, сказки рассказывать со счастливым концом... А ты умные вещи говорил, гладкие, плавные... со своим трехклассным образованием... Мне было стыдно за каждое твое изречение... Я чувствовала себя оскорбленной... потому что это тоже было признаком того, что ты бедный... — О, Гея издали узнавала бедных. Очень хорошо она их знала. Неграмотных, но с природным умом. Умеющих держаться. Похожих на свою одежду. Бедную, но опрятную. Но до чего же все в этом мире неестественно. Лишено всякой логики. Гея еще больше вскипела, когда вспомнила, как он поднимался и искал какой-нибудь глупый повод, чтобы уйти. — И что ты делал, знаешь?.. Прощаясь, ты крепко пожимал им руки... Почему ты это делал?.. Почему ты перед ними расшаркивался? Почему позволял, чтобы они с тобой на «ты» разговаривали, а сам им «выкал»? Вот тут-то ты и потерпел поражение... во всем, во всем... Они тебя со света сживут... на кусочки разнесут, ты не выдержишь... Потому что на «вы» с ними разговаривал... И позволял, чтобы они «тыкали». Ты с первого же дня сдался, потерпел поражение, конечно, поздно уже...

Они знали, как им быть. Как унижить, сломить ее и этого слюнтяя, И почему он на следующий день бывал еще любезнее с нею, почему он сдавался при ней? Вот это-то и было загадкой. А ведь я совсем как ты. Так, почему же мы, в свою очередь, должны унижать друг друга?

Что за бред... Нет, нет, Гея не любила невинных мальчиков. Подальше от них. Они все усложняют. И всего от них можно ждать. И нежности и жестокости. И то и другое искренне. И то и другое одновременно. И добро могут творить и зло. Зла больше. Вот если бы вдруг им доверили, вдруг бы им дали править миром, ого, что бы тут было!.. Ей очень хотелось зашептать сейчас Страуду на

ухо: «Знаешь, скажу тебе по секрету, я тоже невинная... не удивляйся... господь, убереги нас от невинных...»

— Гея, я люблю тебя...

Одетые в смокинги мужчины зашевелили стульями. Квадрат еще сузился. Страуд совсем не к месту заметил очень знакомую картину: противоположная стена от сырости пошла трещинами. У него часто бывало неудержимое, сумасшедшее желание протянуть руку, отодрать кусок штукатурки и с удовольствием увидеть, как обваливается вся стена.

— Я тоже люблю. Наверное, люблю. Во всяком случае, я благодарна тебе. Я все понимала по твоему взгляду. Не сразу, мало-помалу, постепенно начала понимать. Ты сумел научить меня этому. — Во время этого счастливого признания Гея чувствовала себя беспомощной и беззащитной. — Я тебя прошу... очень прошу... если вдруг родится твое слово... скажи его... обязательно скажи... пусть это будет самое обычное слово... но это будет самое лучшее из всего мною слышанного... самое незнакомое... хочешь... ты ведь хотел... помолчим секунду... может, и в самом деле все пойдем...

И они секунду помолчали. Но так ничего и не поняли, да и что они могли понять? Напротив, все вконец запуталось. Десятки вопросов вспыхнули, хлынули сквозь дверные щели и заполнили этот одноэтажный, с низким потолком домик. Так ночью еще бывает в темноте, перед тем как заснуть.

— Мы уйдем, Гея. Куда глаза глядят. Если мы вместе... если два человека вместе... это уже сила... Но зачем нам куда-то уходить, Гея? Зачем бежать? У нас еще есть дела здесь. Со всеми, кто оскорбил нас. Мы не дадим им так легко от нас уйти.

— Да, Боб...

Гея чувствовала себя счастливой. Начинала привыкать к счастью. Она не знала еще, что и к счастью быстро привыкают. И сейчас, пожалуй, была, как никогда, беспомощна и беззащитна.

— Мы сами, своими руками выстроим свой дом... На высоком взгорке... на виду у всех... — взволнованно говорил Страуд. — Мы побелим его, чтобы и в темноте он был хорошо виден... Мы научим всех таких же, как мы, несчастных силой забирать свою долю счастья... мы заставим их вызубрить на зубок наш урок... — Он говорил задыхаясь и с удивительной деловитостью, которая не вязалась с тем, что он говорил. — У нас будет много детей, мы научим их трудолюбию, честности, благородству... Мы не злом, а вот так ответим на всю горечь и мучения, перенесенные нами...

— Да, Боб, да... Так...

Дальше все происходило с головокружительной быстротой.

На следующий день Страуд расплатился с домохозяином, взял свой чемодан и пошел к Гее. Его биография бродяги-путешественника была видна даже по тому, что чемодан был самой значительной частью всего его имущества. Пересекая расстояние между двумя домами, Страуд попытался во что бы то ни стало определить нынешнее свое состояние и дать название пестрой лавине чувств, столь внезапно нахлынувшей на него. Так какое же название дать всему этому? А вот какое — он только теперь впервые в жизни почувствовал, что он житель Алькатраза, его гражданин. Более точного определения нельзя было найти.

Как только Страуд вошел в свой новый дом, он с удивлением обнаружил, что Гея лежит на кровати, спрятав лицо в подушку, и громко и потерянно плачет. Она подняла лицо, и он увидел на этом лице синяки, а шея вся была в глубоких царапинах. Медальона, с которым Гея никогда не расставалась, на шее не было. Взгляд Страуда с сомнением покрутился по комнате и остановился на шкафу, дверцы которого были распахнуты и все содержимое вывалено на пол. Двенадцать мужчин, вызванные воображением Страуда, смущенно зашевелили стульями, квадрат стал совсем узким.

— Опять был он? — угрюмо спросил Страуд. — Все деньги твои унес? И медальон отобрал?

Гея, воспрявшая от его присутствия, прерывисто всхлипывала и все кивала головой, словно отвечала на множество других вопросов, которые Страуд попросту не успел еще задать.

— Сейчас вернусь... сейчас... одна минута, и я здесь... — Страуд был всклочен. Он, который всю жизнь искал опору и защиту, сейчас обязан был защитить другого. Он не успел подумать о своей новой роли. — Сегодня дождь был, — пробормотал он, — на улицах слякоть... Я быстро...

И, побледнев, выбежал из дому.

Житель Алькатраза пробежал по запутанной сети переулков и без всяких расспросов сам нашел нужный ему дом. Он взбежал на второй этаж и увидел, что дверь в комнату приоткрыта. Возможно, ее специально оставили раскрытой, наверное, уверены были, что он придет. Накопившееся в нем возмущение диктовало — ударь по этой двери каблуком и войди. Но, как назло, в эту минуту по краешку его сознания прошлось, мелькнуло воспоминание о его рабочем месте — о фабрике, на которой производили женские чулки и трикотаж. Он протиснулся сквозь дверную щель и очутился в полутемной комнате, в которой великан мужчина, одетый и в носках, возлежал на кровати. Страуд заметил, что мужчина не умещался на кровати, — ноги его вылезали за прутья. Но другая

подробность мгновенно успокоила Страуда: носки на великане были заштопаны, и довольно грубо, кажется, даже нитками другого цвета...

— Отдай Геины деньги. И медальон тоже.

Собственный голос показался Страуду до боли знакомым.

— Значит, это ты Геин муж, — не поднимаясь с места, процедил мужчина. — Очень приятно. Будем знакомы.

— Нет, пока еще не муж, но мы должны пожениться. Что мне еще сказать, чтоб ты понял меня? У меня нет другого выхода. Я должен взять ее деньги и медальон тоже. Я не могу вернуться с пустыми руками.

— Что ж, ты прав. И я бы на твоём месте точно так же поступил, — безмятежно сказал мужчина. — Не стал бы ведь я молча смотреть, как мою будущую жену избивают, отбирают деньги и медальон. Ты правильно поступаешь.

— Видишь, как спокойно я с тобой разговариваю. Как вежливо себя веду. Это тебе ни о чем не говорит?

— Говорит, отчего же нет. Ты очень хочешь быть счастливым. Это желание так и прет из тебя. Не думай, что глаза у меня закрыты и я ничего не вижу. От тебя разит счастьем. Но это смотря на чей вкус. Я, например, терпеть не могу этот запах. Дешевый одеколон напоминает. Ты ведь извинишь, что я не поднимаюсь.

Здесь таилась какая-то опасность. Страуду стало не по себе: тональность разговора диктовал не он, а лежавший на кровати мужчина. А должно было быть наоборот. И он почувствовал, что уже поздно, что он с самого начала потерпел поражение. Он глянул исподтишка в глубь комнаты и призвал на помощь свои смокинги — двенадцать мужчин молча заняли свои места. Оставалось смиренно ждать, куда поведет, как все повернет лежавший на кровати мужчина. Но Страуд не выдержал и снова заговорил:

— Я тебя знаю. Я и в твоём баре бывал. Ты-то меня наверняка не помнишь. В день столько народу приходит, всех разве запомнишь. Я замечал, ты всегда хвалился своей силой.

— Только хвалился? — оскорбился мужчина. — А не показывал?

— Да, да, конечно. Я видел, как ты однажды сразу трех-четырёх парней избил.

— И ты не восхитился, не пришел в восторг, не позавидовал? Если скажешь, что восхитился, я отдам тебе Геины деньги. А если скажешь, что и позавидовал, получишь и медальон.

— Восхитился, — умирая от стыда, сказал Страуд. — Позавидовал.

— Послушай, парень, до чего ж сильно ты хочешь быть счастливым!

— Я прошу тебя, забудь на минуту, что ты силач и можешь измордовать меня. На минуту забудь. И отдай деньги. Прошу тебя.

— Допустим, отдал. Ну, а побои, ведь я избил ее? — Человек этот испытывал высшее удовольствие от собственных рассуждений. — Ты слышишь, я избил Гею. А она должна стать твоей женой. Как же быть? Возникает необходимость принести извинения, не так ли?

Он был доволен, что сделал правильный ход на шахматной доске. Шахматы были его слабостью. Остальные игры он не принимал, потому что они не имели ничего общего с умом.

— Я прошу тебя... не надо... Не губи меня... все равно, я эти деньги должен взять... — Страуд не забыл прибавить: — И медальон тоже... У меня нет другого выхода. Хочешь, я потом верну тебе их... Вдвойне отдам... буду даром работать на тебя, наколю дров на зиму... Но сейчас ты мне их отдай... медальон тоже...

— Не унижайся. Человек не должен унижаться. Не имеет права. — Мужчина расставлял ловушку Страуду. Он был доволен Страудом. И даже, если хотите, уважал его. Потому что его противники обычно бывали грубы и неотесанны и не умели принять уровень игры. — Потом сам будешь презирать себя. Пожалеешь о сказанном. Как бы ты ни был слаб в сравнении со мной, все равно ты не должен бояться. В конце концов не силой ведь все решается, есть еще что-то выше силы. Вот на это ты и должен рассчитывать.

— Встань... встань, когда с тобой разговаривают, — заорал Страуд и попал в ловушку. Разъяренный, он подскочил к мужчине и дернул его за ворот. — Ведь я просил тебя!.. Очень просил!.. Просил ведь, не так ли?.. Почему ты меня губишь? Ведь знаешь, что не уйду... знаешь, что я должен победить... У меня нет другого выхода... И знаешь, что это невозможно... Почему ты не слушаешь меня... почему, почему?..

Громадное тело мужчины приподнялось с постели, в секунду великан отвел руки Страуда от своего ворота, подмял его под себя и начал душить. Это он тоже проделывал с большим удовольствием. С еще большим даже. После тонких шагов грубость и сила приобретают особый смысл. Страуд делал безнадежные попытки высвободиться из великаньих клещей, лицо его посинело, глаза были широко раскрыты, и взгляд прикован к потолку, на котором колебалась слабая тень от абажура. Сейчас в этой тени уместилась вся его жизнь. Он с трудом выпростал руку, потянулся к карману, вытащил револьвер, поднес к виску мужчины и выстрелил. И только после второго выстрела почувствовал, что клещи расслабились. Он закрыл глаза, и тень от абажура исчезла. Сам он не слышал звука выстрела. Ему показалось, что просто-напросто двенадцать мужчин пошевелили стульями и получилась имитация этого звука: бум... бум...

Он выстрелил не только из инстинкта самосохранения, но и потому, что его заставили унизиться. Его, который всю жизнь унижался, но унижался бессознательно, как-то буднично, сам того не ведая. И он понял, что если б даже его не пытались задушить, он бы все равно выстрелил, потому что на этот раз его унизили вопиюще, напоказ, у себя же на виду.

Страуд с трудом выбрался из-под тела и оцепенело уставился на труп. Он с ужасом заметил, что мужчина сейчас свободно помещался на кровати. И только теперь до его сознания дошло, до какой же степени тот мертв. Потом Страуд посмотрел на его заштопанные носки и еле слышно прошептал:

— Говорил же я... другого выхода у меня не было. Кровь струилась из виска неподвижно лежавшего мужчины, она залила половину его лица, остальные поллица почему-то оставались чистыми, нетронутыми. Потом кровь пролилась на простыню и грубо очертила свои границы. И может, оттого, что простыня была грязной, показалось, что это просто красная краска пролилась откуда-то. Одна капля повисла на краю простыни. Единственно реальной и жуткой была эта капля. Взгляд Страуда тупо приковался к ней. Он не мог выбежать из этой комнаты, потому что эта капля набухла-набухла и никак не могла оторваться и упасть на землю. Двенадцать мужчин загрохотали стульями, квадрат разом сузился, сжал Страуда. Страуд поднял руку. Но почему они в смокингах, ведь ни он сам, ни кто-либо из его окружения никогда не носили смокинга... Даже и не мечтали... Лишь бы на потолок не посмотреть, лишь бы тень от абажура не увидеть...

— Гея, Гея, я с ним разговаривал на «ты»... Знаешь...

ФАКТОГРАФИЯ*

Страуда одели в серую одежду узника и ознакомили с тюремным уставом, состоявшим из 95 пунктов. В тюрьме господствовал дух молчания. Во время обеда, так же как и во время изнурительных работ, арестантам было запрещено переговариваться. За обедом нельзя было даже оглядываться. Остатки еды и крошки приказано было оставлять на тарелке только с левой стороны. Тюрьма кишела вшами и прочими паразитами. При появлении тюремной администрации и стражи узник обязан был вскочить и обнажить голову. Нарушившего правила избивали и привязывали к дверям камеры, подвешивали за указательный палец или же на несколько месяцев заковывали в кандалы, а на кандалы навешивали двадцатипятифунтовую металлическую гирю. Этот вид наказания узники называли «тащить ребенка», или, что вернее, «водить за собой ребенка». В этой тюрьме был придуман уникальный способ надзора, который назывался «система сигналов». Особо выученные две громадные собаки всегда бежали впереди надзирателя. Входные ворота — их было несколько — были металлические, двойные и открывались посредством электрического механизма. В случае надобности через ворота можно было пустить ток высокого напряжения. Электрический механизм был настроен так, что, когда открывалась

одна дверь, другая оставалась закрытой. Внутренние двери отпирались ключами, но у надзирателя никогда не бывало полной связки этих ключей. Имевшимися у него ключами он мог отпереть только несколько дверей, после чего он передавал ключи другому надзирателю и взамен получал новую связку. Тюрьма была обнесена гигантским забором. По приказу начальника тюрьмы стража стреляла по всем, кто приближался к забору ближе чем на двадцать шагов. Вот почему у узников был хорошо наметанный глаз.

** Документальные главы здесь и далее взяты из документальной работы Т. Джаддиса «Узник Алькатраза» (Примеч. автора).*

ГЛАВА ВТОРАЯ

Суд для пущей значительности решили провести в доме убитого.

Из комнаты была убрана вся дешевая мебель за исключением простого обеденного стола и трех табуреток. На табуретки сели судья и два присяжных. Обвиняемый Страуд должен был стоять, так как покойный с мистической прозорливостью обзавелся всего лишь тремя табуретками. Остался стоять на ногах и адвокат-защитник, который в отличие от Страуда мог-свободно передвигаться по комнате. Он ходил от стены к стене, устав, опускался на корточки в углу или же упирался ногой в стену. Кроме названных пяти человек, в комнате никого больше не было.

— Имя, фамилия? — спросил судья.

— Я виновен, — ответил Страуд. — Это я убил.

— По порядку, все по порядку, спокойствие. Мы ведь не отрицаем, что ты убил. Сообщи нам свои имя и фамилию.

— Это я убил.

— Имей в виду, ты начинаешь оскорблять высшее законодательство. В данную минуту нас совершенно не интересуется, кто кого убил. Боб Страуд, скажешь ты наконец свои имя и фамилию?

— Я предлагаю отложить суд, — предложил первый присяжный, — тем более что неясно, кто убийца. Фактически мы его еще не обнаружили. — Он страдал хронической бессонницей и был уверен, что эти толстокожие узники как только приложат голову к подушке, так сразу и заснут крепким, беспробудным сном.

— Давайте лучше судить обвиняемого за оскорбление высокого суда.

— Как это неясно, кто убийца? — с сомнением возразил второй присяжный. — Он ведь признался?

— Ну, какое имеет значение его признание, — снисходительно улыбнулся первый присяжный. — Это мы должны обнаружить убийцу. Мы, а не он. В конце концов у обвиняемого нет специального образования. Почему он вмешивается в наши дела? И откуда он знает, в чем мы его обвиняем? А вдруг да мы предъявим ему совсем другое обвинение?

— Страуд, если не считать этого неприятного столкновения между нами, — сказал судья, — я должен признаться, что восхищен тобой. Ты правильно поступил, совершая это убийство. Ты защищал свою любовь, а я не уверен, что в наши дни найдутся люди, которые способны, во-первых, вообще любить и, во-вторых, принести жертву во имя любви.

— Например, я знаю совершенно твердо, — с искренним сожалением добавил второй присяжный, — мой сын предпочел бы оставить деньги и медальон у силача, а сам бы в это время преспокойно нежился в объятиях любимой девушки, в мягкой и теплой постели.

— Ты всю жизнь искал защиты у других, — обратился к Страуду первый присяжный почти с отеческим терпением, — а как только ты полюбил, ты был обязан сам стать защитником. Ты просто не успел подумать о своей новой роли. И очень хорошо сделал, что не подумал.

Страуд растерянно смотрел на судью и на присяжных. Насколько ему было известно, эти люди являлись его врагами и должны были сделать все, чтобы погубить его. Это было видно уже по одежде, в которой они пришли сюда, и особенно по галстукам и позолоченным крупным булавкам на этих галстуках.

— Они меня освободить хотят? — прошептал он защитнику.

Защитник отрицательно повел головой.

— Как же так, — не поверил ему Страуд. — Ведь они на моей стороне.

Защитник снова покачал головой.

— Год рождения? — спросил судья.

— 1891-й, — устало и обреченно ответил Страуд.

— Национальность?

— Алькатразец, — устало и примиренно засвидетельствовал Страуд.

— Вероисповедание?

— Католик, — устало и приладившись выдал себя Страуд. Потом очень неожиданно прибавил: — Разрешите сказать имя и фамилию.

— Разрешаю.

— Боб Страуд.

— Мы одержали победу, коллеги, — судья сиял от удовольствия. — Обвиняемый сдался, подчинился силе закона.

Первый присяжный поднялся, подошел к Страуду, несколько секунд внимательно изучал его, потом обернулся к коллегам и сказал с сожалением:

— У него сложение жокея. Он мог стать первоклассным жокеем.

— Бедный парень, — откликнулся второй присяжный. — Он мог жениться, заиметь детей, быть счастливым. И зачем ему понадобилось быть честным, когда кругом сплошная торговля, обман, грабеж и низость...

— Тем более что и неграмотный, — прибавил судья. — Вот только что я прочитал в деле, что он кончил всего три класса.

— Быть неграмотным и совершать честные поступки? — возмутился первый присяжный. — Это уже чересчур. В таком случае его честность объясняется комплексом неполноценности.

— Как? — сжался от испуга Страуд. — Что это значит?

— Мы не обязаны тебе все объяснять.

— Я хочу знать, что это такое, — попросил Страуд.

— Этого ты уже никогда не узнаешь.

— Прошу вас... — впал в панику Страуд, ему показалось, что секрет заключается именно в этих таинственных словах... Если он выяснит значение этих слов, им трудно будет снова заманить его в ловушку. — Я должен знать, скажите мне, что это значит... Ведь это моя вина, не ваша...

— Я не стану сейчас смотреть на часы, не стану думать, что опаздываю в гости. Это очень дешевый и избитый прием. — Судья торжественно поднялся на ноги, чтобы произнести свой приговор. — Мне уже все ясно, Страуд. Ты обвиняешься в убийстве. Ты приговорен к смерти. Тебя вздернут на виселицу. Ты восстал против всего Алькатраза. Страуд — против Алькатраза.

Страуд знал, что это и есть конец. С того самого дня, когда он впервые в жизни почувствовал, что любит, когда понял, что где-то существует счастье... с того самого дня он смутно стал чувствовать приближение конца. И вот вам развязка. Да какое ему дело было до счастья. Счастье... Что за странное слово...

— Простите меня, — промямлил он, — за мою наглость, за бесстыжество... — Вдруг он заметил, что у одного из присяжных ворот рубашки тесен и жмет. Это словно подстегнуло его. — Это Гея виновата... — заорал он, захлебываясь. — Почему вы не судите ее? Почему не вызвали сюда? Ведь это ей я объяснялся в любви... Ведь она старше меня... на целых тринадцать лет... и некрасивая, совсем некрасивая... Она обманула меня... притворилась самой лучшей... Она деньги брала у мужчин... за то, что ложилась с ними... судите ее, казните ее... — и он потерянно заплакал. — Бедная Гея, я предал тебя... еще и не любил, а уже предал... это такой народ, Гея... Они кого угодно заставят предать... Заставят отречься от еще не произнесенных слов, от несвершенных дел, от себя самого. — Потом, злобно улыбаясь, обратился к судье и присяжным: — Она не поверит... все равно не поверит... Вы не сможете сделать так, чтобы она считала меня подлым, трусливым... Я доказал, что на все готов ради нее... и сейчас ни о чем не сожалею... — Потом нить мысли оборвалась, он что-то вспомнил и зачастил жалобно: — Я только три класса кончил, я всегда был первым учеником, в транспорте уступал место женщинам и старикам, правил уличного движения не нарушал, может, примете во внимание...

— Почему не даете слова защите? — послышалось из угла.

— Пожалуйста, — судья посмотрел на часы, — но я опаздываю на прием.

— Я только одно скажу. Страуд против Алькатраза не восставал. Скорее наоборот — Алькатраз против Страуда.

— Ага, и этот из тех же, — презрительно усмехнулся первый заседатель, — из тех, кто провозглашает известные истины. Это-де стол, а это стул, а вот стена... — Присяжный огляделся, и воображение его застопорилось, потому что в комнате никаких других предметов не было. Он уныло посмотрел на дверь и захотел было представить, что может быть по ту сторону двери.

— Кроме того, я возражаю против вынесения приговора, потому что допущены процессуальные ошибки.

— Ну-ка, ну-ка, — испуганно поинтересовался судья.

— У первого присяжного мятые брюки. А это нарушение кодекса. У второго присяжного пальцы все время выстукивают по столу. Это уже грубое нарушение. Ибо означает, что присяжный в нервном состоянии. А с подпорченными нервами невозможно следовать истине.

Судья в панике стал листать свод законов и мрачно подтвердил:

— К сожалению, замечания защиты справедливы. Допущен ряд процессуальных ошибок. — Потом оживленно погрозил пальцем адвокату. — Ну, ты славно подхватил наш стиль. Так серьезно, солидно было начал, я даже обрадовался, а

потом взял да и прижал нас к стенке. Думаешь, мы не поняли, кто ты на самом деле? Ты автор. Да, да, ты сам автор. Вот ты кто.

Суд был отложен, и спустя год обвиняемый и суд снова встретились в комнате покойного. Зарубежных туристов гиды первым делом приводили сюда. Когда кто-либо метался, пытаясь спасти родича, попавшего в лапы судей, он приходил в этот дом и зажигал здесь свечу. Приходили сюда и паломники из дальних городов, и потому стены этого дома, превратившегося в своего рода святилище, были полностью закопчены.

— Очень рады встрече с тобою, Страуд, — сказал судья. — Как бы там ни было, а все-таки мы старые знакомые, а это всегда приятно. Представь, что ты нам нравишься. Наша борьба с тобою порождает любовь, потому что мы связаны друг с другом. Если бы тебя не было, не было бы и нас. Но если бы нас не было, тебя бы и вовсе не было. Итак, мы снова приговариваем тебя к смертной казни. Потому что ты восстал против Алькатраза.

Адвокат снова запротестовал, на этот раз довод его был такой: по законам Алькатраза нельзя за одно и то же преступление судить дважды. Это поставило судью в тупик, суд отложили. А на следующем заседании адвокат снова напомнил об этом пункте закона. И так продолжалось бесконечно. Суд не мог вынести приговор, создавался заколдованный круг. Судебный этот эпизод грозил ослабить Алькатраз на весь мир. Стали подумывать о том, чтобы обратиться к патриотическим чувствам обвиняемого и уговорить его совершить еще одно убийство, чтобы он снова как бы впервые мог предстать перед судом... Выходом из этого заколдованного круга мог явиться компромисс, некое снисхождение со стороны властей, то есть если бы король заменил смертный приговор пожизненным заключением. Но для этого мать обвиняемого должна была предъявить письменное прошение на имя короля, который как бы ничего обо всем этом не знал.

— Что такое комплекс неполноценности? — нервно спросил Страуд. Эти слова день и ночь беспокоили его, никогда в жизни он не чувствовал себя таким униженным. — Я хочу знать... Я должен знать... — И он опустил на колени. — Умоляю вас, скажите...

Последнее заседание суда состоялось в годы первой мировой войны. Страуд о войне узнал только на суде и, к общему удивлению, попросил разрешения дать свою кровь для раненых.

— Ни в коем случае! Этого нельзя допустить, — возразил первый присяжный (его двадцатилетний сын до сих пор мочился по ночам в постели). — Дело не в том, что он изможден, а просто надо учитывать суть его крови. Он хочет заразить наших солдат. Он хочет, чтобы Алькатраз потерпел поражение.

— Отказать, — изрек судья, — и приговорить к пожизненному заключению. По приказу короля. Боб Страуд, хотя мы множество раз пытались накинуть петлю на твою шею, но благодаря милости короля тебе дарована жизнь.

От радости Страуд опустился на колени и что-то прошептал, совсем тихо. Впоследствии многие толковали это так: это не были слова молитвы, просто обвиняемый инстинктивно произнес две строчки из детского стишка, запавшего ему в память.

— Король также приказал, чтобы ты высказал свое последнее желание.

Сие великодушие со стороны короля некоторые объяснили тем, что правитель попросту хотел смягчить постыдное впечатление от процесса.

Страуд напрягся всем телом, чтобы суметь выдержать эту двойную радость. Ему и жизнь даруют, и последнее желание вдобавок спрашивают. Мозг его лихорадочно заработал. Может быть, попросить, чтобы разрешили выйти на улицу, а там выпить кружку пива и вернуться? Или, может быть, попросить, чтобы кто-нибудь из этих людей подарил ему свой галстук с большой позолоченной булавкой? Или, может быть, попросить, чтобы в этом городе закрыли производство женских чулок и трикотажа? Или — ну да, это самое достойное — чтобы разрешили пройти пешком в тюрьму. Самому, без стражи.

— Книги хочу читать, — сказал вдруг Страуд.

Он вспомнил преследовавшие его два таинственных слова, этот самый «комплекс неполноценности», будь он неладен. Сейчас он им всем отомстит, узнает смысл этих слов. И вообще выучит множество слов. Пригоршнями будет их хватать. Если кто-нибудь попробует в тюрьме его унижить, он швырнет ему в лицо какое-нибудь ужасно сложное мудреное слово...

— Книги? — с презрением переспросил судья и не поверил своим ушам.

— Опомнись, парень, попроси что-нибудь приличное, — пожалел его второй присяжный.

— Как бы я сейчас хотел быть на твоём месте, — искренне признался первый присяжный.

— Разрешите читать в тюрьме книги.

— Как бы король не услышал, — всерьез забеспокоился судья.

— Но это вызов! — оскорбленный до глубины души, возмутился первый присяжный. — Он бросает нам перчатку.

— Да ведь я говорил вам, — простодушно перебил его Страуд. — Я кончил всего три класса. Всего-навсего.

— Ты до конца жизни приговорен к одинокому существованию! — потеряв себя, вопил судья, а Страуд, счастливый, кивал головой. — Света солнечного не будешь видеть, на прогулки не будешь выходить, лица человеческого не увидишь, ты вынужден будешь сносить насмешки и издевки тюремщиков. — Страуд, счастливый, кивал головой. — Ты сгинешь в тюрьме, тебя будут называть только по номеру. — Страуд, счастливый, кивал головой. — И так до самой смерти, то есть до того самого дня, когда все наши предыдущие приговоры наконец будут приведены в исполнение! Ты от меня и двух моих присяжных не уйдешь. От нас никто не уйдет.

Страуд, счастливый, кивал головой.

ФАКТОГРАФИЯ

Когда в 1909 году 23 октября металлические ворота тюрьмы захлопнулись за Страудом, президентом Соединенных Штатов был все еще Теодор Рузвельт, Вильгельм Гогенцоллерн был еще в поре своего всесия и процветания, и до сараевского выстрела оставалось ровно пять лет и годом больше до первого осmano-турецкого геноцида армян в 1915 году.

Этот человек в последний раз целовался до гибели «Титаника», когда на русском престоле еще сидел царь. Он никогда не видел аэроплана, никогда не садился за руль автомобиля, и улицы, по которым он проходил, еще не знали светофоров. Никогда в жизни он не видел телевизора.

Тюрьма попросту поглотила его. Сколько лет провел он в одиночной камере? Больше, чем кто-либо во всей истории двадцатого века.

Он жил долго, очень долго.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Все тюрьмы и камеры на свете удивительно похожи одна на другую, однако узники не знают об этом или просто не задумываются... Вот почему одиночная камера Страуда была для него особенной. Цементный пол, толстые оштукатуренные стены, в глубине, почти у самого потолка, слабый свет, символизирующий крошечное, забранное железной решеткой окно. Дверь из толстых железных прутьев защищена металлической сетью. А за нею вторая гигантская деревянная дверь, закрывающая доступ воздуху и свету. В камере были также стул, стол, умывальник и узкая кровать. Вот уже несколько лет Страуд жил здесь. Он разузнал, что в тюрьме есть библиотека, и читал запоем день и ночь. Его стол был завален книгами и хлебными крошками. В день по несколько раз он придвигал кровать к стене, поднимался на железную перекладину спинки кровати и приближал лицо к окну. Из окна виднелся только кусочек неба, то есть то же самое, что виднелось из самой камеры. Он вынимал

из кармана катышки, сделанные из хлебных крошек, и по одному бросал их из окна. Но делал это не просто так, не машинально. Бросая каждый из катышков, он мучительно сосредоточивался, словно хотел что-то сказать. Если бы у него спросили, о чем он думает в это время, он не смог бы ответить, потому что слова тут не играли никакой роли. А однажды, когда на сердце было особенно тяжело, когда потолок камеры показался слишком высоким, а может быть, наоборот, слишком низким, он выбросил из окна одну из своих книг. Спокойно поднялся на спинку своей кровати и спокойно выбросил. Через несколько месяцев у него возникло желание спросить у библиотекаря эту книгу. Как же велико было его удивление, когда библиотекарь протянул ему тот же самый томик. Он был уверен, что его обманули самым бесчестным образом, провели подло, низко, взяли и надругались над ним. А еще один раз, когда овладевшая им ужасная безнадежность в одно мгновение со всей ясностью обрисовала ему его положение, он огромным усилием воли собрался, сделался очень уравновешенным, придвинул кровать к противоположной стене, поднялся на железную спинку и бесстрастно выбросил в окно полосатую куртку узника. То есть причинил себе как узнику настоящий урон. Потом, водворив кровать на прежнее место, улегся и продолжал читать.

У него были определенные часы, когда его навещали гости, воображаемые, разумеется. В эти часы он бывал хлопотлив и деятелен. Он заранее приводил в порядок стол, раскладывал книги, подбирал все хлебные крошки. и даже карманы вытряхивал, освобождая их от хлебных катышков.

Железная и деревянная двери со скрипом распахнулись, и в домашнем халате и нарядных шлепанцах вошла его мать, с подносом в руках, на подносе грома грязных тарелок.

— Не помешала, Боб? — Она подошла к умывальнику и начала мыть тарелки.
— Такая досада, в доме теснотища, до сих пор нет отдельной кухни...

— В эти часы я жду не дождусь тебя, ма... Ты всегда первая приходишь.

— Кофе хочешь?

— Свари сладкий. Очень сладкий. Так, чтоб даже затошнило.

— Я тебе конфет принесла, — заговорщицки объявила мать, но ничего не дала.

— Мама, скажи, кого ты любишь больше всех на свете? — неожиданно спросил Страуд.

— Тебя.

— Скажи правду, — голос был сухой и требовательный. — Меня или брата? Или отца?

— Но их давно уже нет на свете. Боб.

— Вот и получается, что ты их больше должна любить, — грубовато сказал он.

— Наоборот, Боб, я даже забыла их... — И мать испуганно перекрестилась. — Ведь сколько лет прошло...

— Обманываешь, ма...

— Боб, кроме тебя, у меня никого нет на свете, ты же знаешь...

— Не верю, ма! — с отчаянием крикнул Страуд. — Не клянись понапрасну. Если на самом деле любишь меня, почему до сих пор не распродала все, не знаешь разве, что освободить меня могут только за деньги. Насколько я помню, в мое время так было...

— Боб, что ты говоришь... грех на душу берешь... Я и так все продала...

— Неправда... — Страуд был комком нервов, он сознательно приближал свое падение и испытывал болезненное удовольствие, мучая мать. — Посмотри на себя, разве у тебя вид человека, все распродавшего? Бедный человек наденет разве такой халат, такие шлепанцы? Посмотри, какие они у тебя новые. Почему они должны быть такими новыми?

— Боб, подумай, что ты говоришь.

— А если ты в самом деле любишь, почему ты жива до сих пор?... — Взгляд был жестокий, непрощающий. И особенно бесила его мысль, что мать простит ему и эту пытку. — Другие матери давно бы умерли от горя... покончили бы с собой...

— Я бы не уважала себя, если б хоть на миг позволила себе подумать такое. Я обязана быть сейчас сильнее самой себя.

— Ма, значит, ты в самом деле любишь меня? — Страуд разом сжался, сник и захотел вытереть нос непременно платком матери.

— Глупый мальчик, подойди ко мне, — полушутя-полусерьезно мать дернула сына за ухо. — Встань на колени и проси прощения.

— Дерни крепче, ма... До чего хорошо... как много лет назад... ты меня накажешь... а кофе не дашь, конфет тоже...

Мать обняла, прижала к себе коленопреклоненного сына и стала гладить его по голове.

— Будь крепче, Боб. И не позволяй, чтобы тебя ставили на колени. Ни в коем случае не позволяй. Раньше ты не был таким. Неужели одиночество и четыре стены должны изменить тебя?

— Скажи, ты любишь меня, ма?.. — не отставал Страуд. — И всегда будешь любить?.. Больше всех на свете?.. И ты будешь страдать из-за меня?.. Ведь твоя любовь единственная моя связь с жизнью...

— Будь спокоен, Боб, я не оставлю тебя, я буду приходить каждый день. В твоём воображении я всегда буду являться первой...

Страуд, уткнувшись лицом в юбку матери, замер. Сейчас, в эту минуту, он был уверен, что, будь мать всегда рядом с ним, он бы никогда не захотел жениться на Гее.

— До свиданья, Боб. Смотри, кофе остынет. На конфеты не набрасывайся.

Но мать не ушла, отодвинулась в угол и молча встала там, как статуя.

— Надзиратель! — заорал Страуд.

Железная дверь открылась, вошел надзиратель. Его комната находилась как раз на том этаже, где были камеры-одиночки приговоренных к пожизненному заключению. Внимательнее всех в тюрьме были к приговоренным к смерти, после — к пожизненно заключенным. Остальных для тюремного начальства не существовало.

— Нашел! — с восторженным криком встретил его Страуд. — Я знал, что я на верном пути, честное слово, знал!

— В чем дело? Если опять из-за каких-то глупостей вызвал, пойдешь в карцер, сам знаешь. По тюремным правилам, пункт восемьдесят шестой.

— Берется коробка... вот такой вот величины... — глаза Страуда лихорадочно блестели. — Внутри густая электрическая сеть... есть провода-воспоминания, провода-ответы... — Он задыхался, потому что уже переживал близкую победу, единственный выход из этого жуткого положения. — Можно задать любой вопрос... и, представляешь... нет, ты не можешь представить этого... Нажимаешь кнопку и слышишь ответ. Вот тут схема, посмотри. Ну что, понял? Мы будем ограждены от ошибок... и будем жить как надо. Кто из нас не мечтал об этом...

— Смысл? — бесстрастно сказал надзиратель.

— Но я уже объяснил. Взгляни на схему.

— Кому нужна эта твоя коробка? Кому нужно знать правду? Например, я захочу разве услышать, что я жесток и невежествен?

— Не захочешь, — испуганно подтвердил Страуд.

— А король, к примеру, захочет он?..

— Не захочет.

— Чего не захочет?

— Ничего не захочет.

— У твоего открытия есть большой минус. Ты придумал его только для себя. Я знаю, ты хочешь нажать кнопку и услышать, что ты невиновен. Ведь так оно и есть на самом деле, ты невиновен. — У дверей он повернулся и добавил: — Не вызывай из-за пустяков, я ведь говорил. В карцер. На неделю.

— Надзиратель... Значит, я все еще несвободен?.. Надзиратель отрицательно покачал головой:

— Твое открытие бессмысленно.

И вышел из камеры. Страуд стоял окаменев. А как же бессонные ночи и сотни проштудированных книг? А схема, эта безупречная схема? Этот чудесный всплеск мысли? Значит, он по-прежнему должен есть водянистую тюремную похлебку и по-прежнему ему не будет казаться, что он ест самые вкусные яства мира.

И он снова обратился к помощи своего воображения. На этот раз через металлическую дверь прошла Гея. Она была в пальто. Гея очень давно не посещала Страуда.

— Ты меня не любишь, — с ненавистью сказал Страуд. — Если бы любила, не пришла бы в пальто. Надела бы и ты халатик и шлепанцы...

— Боб, не мучай меня...я не могу тебя забыть.

— А замуж выйти за другого смогла... Тебе и в голову не пришло ждать меня.

— Но как же, Боб? Ведь ты... никогда не вернешься...

— Кто это сказал? — Страуд ужаснулся, словно только что узнал об этом. — Отвечай скорее... кто сказал... убью, если не скажешь.

— Разве ты сам этого не знаешь, Боб?

— Если помнишь меня, если в самом деле мучаешься почему же ты осталась такой молодой? — еще больше ожесточился Страуд. — Посмотри, как изменился я.

— Но ведь ты меня помнишь только такой, Боб, после ведь ты меня не видел... ты запомнил меня такой. Я не виновата...

— Но хоть угрызения совести, хоть это ты чувствуешь? — наступал Страуд, он был уверен, что в конце концов поймает ее на чем-то. — Когда этот другой обнимает тебя в постели и ласкает... и шепчет на ухо, ты видишь прямую черту, соединяющую две стены?

— Нет, Боб, нет никакой черты.

— За этой чертой всегда стою я. Ты не видишь меня?

— Нет, Боб, нет...

— Не говори так, Гея. Я сойду с ума. Ты должна видеть меня. Должна мною жить. До последнего дня своей жизни должна быть верна мне. Ложись с кем хочешь, но будь мне верна.

— Боб, но ведь я не твоя мать. Завтра она снова придет к тебе. А я уже начинаю забывать твое лицо. Что поделаешь. Это ведь не от меня зависит. Я даже переехала в другой город. Чтобы похоронить прошлое.

— Не будь жестокой, Гея. Я сойду с ума...

— Нет, Боб. Дай мне быть жестокой. Посмотри на меня и не обманывай себя. Смотри, смотри, не бойся. Ведь ты не любишь меня. Больше не любишь. Я ведь не обижаюсь на это. Не давай себя сломить, Боб. Не допускай, чтобы тебя раздавили.

— А иногда, ну хоть изредка будешь вспоминать меня? — совсем по-ребячески спросил Страуд и подумал, что, если бы успел жениться на Гее, сейчас бы он так остро не чувствовал необходимость присутствия матери.

— Иногда? Ну конечно, иногда буду вспоминать. Прощай, Боб. Будь сильным и постарайся забыть меня. Это твой единственный выход.

Но Гея не ушла. Она подошла к матери и молча стала рядом.

— Надзиратель! — восторженно завопил Страуд.

— Ну что, снова в карцер захотел?

— Нашел! — счастливый и воодушевленный, сообщил Страуд. — Все равно нашел. Представь большое толстое зеркало... ставишь его против любого дома... направляешь особые лучи. Ты слышишь? Я все рассчитал... — и победно заключил: — Все, что творится в здании, — как на ладони...

— Смысл?..

— Опять тебе смысл? — подавленно спросил Страуд. — Опять нет смысла? Надзиратель?

— Типичное открытие узника. Это тоже ты только для себя придумал. Чтобы не умереть от тоски в четырех стенах. Ерунда. В карцер. На две недели.

— Надзиратель... значит, я по-прежнему несвободен?..

Надзиратель покачал головой:

— То, что ты придумал, лишено смысла. И вышел. А Страуд вытащил из кармана кусочек зеркала и стал бесцельно пускать зайчиков по стене. Потом выбросил осколочек в окно.

А вот этот гость был неожиданным. Он и в жизнь Страуда вошел неожиданно. Вошел и растоптал все. Страуд напрягся, точно зная, что ему грозит опасность. В дверях стоял Мужчина.

— Я не ждал тебя, — холодно сказал Страуд.

— Что поделаешь. Такова твоя судьба. Если бы тогда ты не был так молод, у тебя было бы больше знакомых и сейчас тебе бы не было так одиноко. Я не виноват, что круг твой так ограничен.

— Почему ты пришел? Ты мне не нужен. Ты не можешь меня любить.

— Я пришел помочь тебе. Я всегда буду приходить и садиться против тебя. Увидев меня, ты почувствуешь ненависть, и ненависть придаст тебе силы. Ты освободишься от потребности любить. И от своего себялюбия.

— Тебе-то что за польза от этого? Ты ведь тоже ненавидишь меня. Я не понимаю, не вижу твоей выгоды тут.

— Ну да, лучше бы я тогда убил тебя. Но ты оказался находчивей... Ты жив, и поэтому ты в долгу передо мной. Если даже я самый последний подлец на этом свете, все равно ты мой должник. Ты раскаялся? Раскаялся. Твое раскаяние прямым или косвенным образом как-то ведь связано со мной, что, не так разве?

— Что тебе надо? Давай короче. Я занят.

— Занят? — усмехнулся Мужчина. — Среди четырех-то стен? Когда не знаешь даже, который час. Ты должен вернуть мне долг. Так, пустяки. Совсем гроши. Ты должен любить меня.

— Я? — опешил Страуд. — Любить тебя?

— Меня никто не любил. Только ненавидели и боялись. У меня не было друзей. И сейчас, как это ни парадоксально, я только с тобой связан. Кроме тебя, у меня нет никого.

— Но ведь это мне нужна любовь! — убежденно воскликнул Страуд. — Это я у всех прошу ее, молю прямо.

— А сейчас люби сам, — потребовал Мужчина.

— Я ненавижу. Ненавижу всех вас без исключения!

— Но что есть твои открытия? Любовь. Потому что они гениальны и бессмысленны. Ладно, не огорчайся, все равно ты выгадал. Ты выгадал любовь.

Страуд долго молчал, про себя он даже восхитился сообразительностью этого типа, потом подавленно заметил:

— Может, ты и прав. Конечно, прав. Но неужели именно ты должен был сказать мне эту истину?

— Теперь ты видишь, мы нужны друг другу. — Он сделал вид, что не замечает, что Страуд оскорбил его. — Будь здоров, пока.

— Минутку... Значит, мне не верить надзирателю?..

— Что твои открытия только тебе служат, ты об этом? — Мужчина презрительно махнул рукой. — Да ведь он жестокий и невежественный человек, что он знает?!

Но и этот тоже не ушел, приблизился к матери и Гее, неподвижно стал рядом.

— Надзиратель!..

— Три недели карцера!

— Нет, на этот раз ты ошибся, — воодушевленно сказал Страуд, — Слушай меня внимательно. Это я написал, — похвалился он. — Уж этого ты у меня отнять не сможешь!

Победа была почти что налицо. Ее близость была уже бесспорна. Еще немножко, еще капельку, и он освободится от своих видений. Бог свидетель, он все выбросит из окна. Даже последнюю рубашку. Лишь бы свести счеты, снять с себя бремя и начать все сначала, с ничего. Ведь это очень важно. Очень. Вернуть себе ту безмятежность, стать таким, каким он был, когда с чемоданом в руках впервые ступил в этот город.

И он начал декламировать:

Кто встретится мне, кто поздоровается,
Чье приветливое слово услышу?
Чье радостное лицо озарится
Дружеским теплом высоким?
Кто поцелует, кто зарыдает,
Кто засветится неподдельным восторгом,
Может быть, на свете где-нибудь есть такой,
Что живет в моей безрадостной жизни?
Может, в моем сердце, в песнях моих мрачных,
В словах, сказанных о моей душе,
Я — мечта обманчивая кого-то далекого,
Брошенная в необманчивую мечту мира?
Может быть, живя в его мечте,
Я пою о его тревогах глубоких,
И кажется мне в тумане мира —
Я себя пою, свою жизнь одинокую?
Здравствуй, неизвестный, незнакомый Друг,
Мир тебе, далекий брат,
Здравствуйте, завтрашние, нерожденные жизни!
Я по-братски и дружески
Приветствую вас с печальной улыбкой,
Мудрой улыбкой рассеявшегося тумана,
ушедшей тьмы!..

— Есть такие стихи, — бесстрастно сказал надзиратель. — Давно написаны.

— То есть как это? — побледнел Страуд. — Но ведь это плод бессонных ночей... Это во мне родилось, мое это... никому не отдам...

— Говорю тебе, уже написаны. И автора могу назвать. Чаренц. Армянин по национальности.

— Армянин?.. Что еще за армяне... никогда не слышал... А ведь я кончил всего три класса... значит, я и он одно и то же почувствовали... не зная друг друга... — Он неожиданно улыбнулся, впервые каким-то полнокровным почувствовал себя, и неудача показалась ему мелкой и незначительной. — Я не огорчен, надзиратель... Напротив... я давно не чувствовал себя таким счастливым...

Надзиратель направился к двери, крайне недовольный тем, что на этот раз ему не удалось разочаровать этого наглого самозванца-открывателя. Все равно, мстительно подумал он, силы его должны быть на исходе, он не посмеет больше идти против логики тюрьмы. Надзиратель немало бунтов перевидел на своем веку, и, хотя этот бунт по своей форме был вопиющим, он не сомневался, что долго это продолжаться не может.

— Надзиратель, а надзиратель...

— Ну что там еще?

— Одну минуточку, умоляю...

Страуд полез под кровать, на четвереньках вылез обратно, держа что-то в ладонях. Надзиратель снисходительно улыбнулся, потому что Страуд держал в руках всего-навсего обыкновенного воробья. Но улыбка вскоре исчезла с его лица. Одиночная камера наполнилась птичьим гомоном.

— Эту маленькую пташку... гляди хорошенько... — с гордостью сказал Страуд, — вылечил я. Она, умирающая, упала ко мне в окно... я ночи не спал, выхаживал ее как ребенка, все лекарства, которые ты приносил для меня, помнишь... те травы, которые я просил, помнишь... Я ее вылечил. Ты бессилён отнять у меня это... Я держу ее а руках, и это реальность... я и она... никто другой не мог ее вылечить... Я тебя посылаю в карцер, надзиратель. На этот раз я тебя посылаю.

Страуд понял, почему судьба улыбнулась ему. Дело в том, что годы подряд он сам все выбрасывал в окно, и вот наконец из того же окна что-то упало к нему. Как воздаяние, как талисман. Он и этот талисман отныне стали неразлучны. Тем более что талисман оказался живым существом.

Надзиратель был в самом деле невежественным человеком, но был таковым вне тюрьмы. В стенах же тюрьмы это был совершенно другой человек. Здесь он все понимал. Обязан был понимать. Сейчас он ошеломленно смотрел на Страуда. Деревянная и металлическая двери одиночной камеры распахнулись, стены исчезли, и камера заполнилась узниками, чьи восхищенные взгляды были направлены на сомкнутые ладони Страуда.

— Запомните, ничтожные, — торжественно провозгласил надзиратель, — он станет ученым. Этот неграмотный несчастный человек. Смотрите, какие чудеса может делать тюрьма. Будьте счастливы, что вы носите эту одежду. Благословляйте тюрьму. Молитесь за меня!

Узники молча смотрели на надзирателя. Надзиратель испуганно отпрянул. Что-то смекнул. Не мог не смекнуть, на то он и был надзирателем.

— Разойдись! Немедленно разойдись! — внезапно заорал он. — Каждому по месяцу карцера. За то, что были свидетелями. А твою птицу я сам собственными руками задушу. Не допущу, чтобы ты меня погубил. Ишь, чего захотел! И чтобы каждый щенок, каждая шваль недостойная могла меня упрекнуть, что я не смог ограничить человеческие возможности, не смог надеть на узника колодки, что я позволил, чтоб у меня под самым носом родился сопливый гений! И не думай, все равно я не обнажу головы перед тобой... пусть хоть весь мир преклонится перед тобой, ты все равно будешь склоняться передо мной...

— И он испуганно и трезво завершил: — Да здравствует Алькатраз, виват король!

Узники бесшумно разошлись, вновь возникли стены камеры и двери, надзиратель вышел вон. Птичий гомон стих. Страуд, счастливый, утомленный, лег в постель. Мать, Гея и Мужчина осторожно, на цыпочках, приблизились к нему, укрыли его простыней, сами уселись возле кровати, съежились, стали стеречь его сон.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Первое время после коронации король работал день и ночь — вносил изменения во все законы, учрежденные его предшественником, то есть его отцом. Но когда он заменил портреты отца своими, к его великому сожалению, оказалось, что они, отец и сын, весьма похожи...

У него не было наследника, и это обстоятельство навело его на весьма своеобразный ход. Он панически боялся новейших идей и вообще всяких идей, и для того, чтобы уберечь себя от возможных бунтов, обеспечить спокойную жизнь до глубокой старости, он издал манифест, в котором говорилось, что после его смерти королевство автоматически станет республикой. Этот манифест дал гораздо больше результатов, нежели он предполагал. Король приобрел необычную популярность. Его почитали как основоположника будущей республики и сентиментально любили как последнего короля. Все это привело к тому, что он перестал править страной, уверенный в том, что инерция и министры сделают свое дело. Он увлекся философией и искусствами, потому что полагал, что из всех занятий это наиболее легкое и наиболее доступное. Так бы и жил он спокойно и беспечно до конца жизни, если бы не одно обстоятельство. Обстоятельство это нарушало его покой, преследовало на каждом шагу и относилось к разряду тех вопросов, которыми мог заниматься только он. И только он один и понял всю глубину этого вопроса и почувствовал всю таящуюся в нем опасность.

— Это не обычный узник, ваше величество, — докладывал первый министр. — Он, можно сказать, без двух минут ученый. Лечит птиц в тюрьме.

— Ученый? В тюрьме? Среди четырех стен?

— Да, ваше величество, отрезанный от всего мира.

— Значит, этот несчастный творит? — озабоченно спросил король. — А до тюрьмы у него не было подобных наклонностей?

— Он кончил всего три класса. Тем не менее он станет выдающимся ученым, ваше величество. Надзиратель прислал мне донос. Его прогнозы всегда безошибочны.

— Значит, что же получается? — нахмурился король. — Получается, что он... свободен.

— Разрешите не согласиться, ваше величество. Он узник.

— Глупец! — Король впал в еще большее беспокойство. — Он сам обрел свою свободу. Сам. Независимо от ваших законов и приговоров.

Случайность это была или опять несчастливая звезда Страуда, но король и узник были ровесниками. И даже больше: король вступил на престол именно в тот год, когда Страуд был арестован. Два этих совпадения, безусловно, сыграли определенную роль в дальнейшем их поединке.

— Да ведь он пожизненно заключенный, ваше величество, — успокоил короля первый министр и не удержался, обиженно буркнул: — Уж хоть бы образованным человеком был, а то три класса...

— Уничтожить! Немедленно уничтожить! — Это было первое, что пришло в голову королю. — Так, чтобы и следа не осталось.

— Это невозможно, ваше величество. Вы лично даровали ему жизнь. Вы подписали прошение матери.

— Если свободен — уничтожить.

— Ваша подпись — закон и святыня.

— Я мог ошибиться.

— Вы не могли ошибиться. Вы не имеете права. Вы король.

— Значит, суд приговорил его к смерти, а я своей рукой даровал ему жизнь, так? Ликвидировать!

— Ваше величество, будет скандал. Такие вещи не остаются в тайне. Как бы тихо мы все ни проделали. Тем более что эти постыдные заседания суда еще не забыты.

— Выходит, он таким свободным и останется? — с ненавистью сказал король.

— Ладно, не напоминай мне больше о нем.

Кабинет короля был маленьким, не больше десяти квадратных метров. Письменный стол, кресло, ковровая дорожка. На стене рядышком два флага — королевский и будущей республики. Флажок республики из предосторожности и деликатности пока назывался эскизом и существовал в единственном экземпляре.

— Ну хорошо, поговорим немножечко о делах страны. Что с переворотом? Если не ошибаюсь, неделю назад готовился переворот.

— Провалился, ваше величество.

— Потому что бездарные...

— Но слава всевышнему, ваше величество, что провалился. Неужели вы недовольны?

— Напротив, сейчас я снова самый счастливый король на свете.

— Тогда в чем же дело? — растерялся первый министр.

— Но вы мои министры, черт побери! — рассердился король. — И я не потерплю, чтобы мои министры были настолько бездарны, чтоб не могли организовать какой-то паршивый переворот. Я всегда должен быть уверен в вашей силе. — Потом спросил угрожающе: — Послушай, скажи мне правду, ты ведь тоже был среди них?

— Да, ваше величество, — стал заикаться от страха первый министр. — И сейчас глубоко раскаиваюсь и готов провалиться сквозь землю.

— Напротив, ты выиграл в моих глазах. Наконец-то ты делаешься мужчиной, — подбодрил король своего первого министра и дружески хлопнул его по плечу. — „А если бы я узнал, что ты был руководителем восстания, я бы обнял тебя и поздравил. Ну что у тебя еще?

— На севере страны волнения, ваше величество.

— Подавить. За один день. Но так, чтобы повстанцы не почувствовали. Не задевайте их достоинство. Еще? Нет, подожди минуточку... — Он стал грызть ноготь на большом пальце, жест настолько некоролевский, настолько человеческий, что снискал королю большую популяр-гость в народе. — Этот неграмотный узник... этот новоявленный ученый... который развил деятельность в тюрьме... о нем что, уже известно?..

— Да, ваше величество. Надзиратель полагает, что скоро о нем заговорит весь мир, а его прогнозы...

— А тебе не кажется удивительным, что птицы залетают в тюремную камеру? — прервал его король. — Любопытно, не так ли? Весьма любопытно. Что будем делать, первый министр? Как поступим? Этот несчастный не дает мне покоя. — Он стал расхаживать взад и вперед по кабинету. Он расхаживал из угла в угол и размышлял вслух, словно арифметическую задачу решал: — Если в тюрьме творит, значит, свободен. Если свободен, значит, надо уничтожить. Если невозможно уничтожить и весь мир вскоре заговорит о нем... — тут он на минуту замолчал, потому что сделал открытие. — Значит, он наша гордость,

первый министр, национальная гордость, и мы вынуждены сами дать ему свободу. Это единственный достойный выход. — Король блестяще решил задачу, воодушевился собственным величием и сделался нетерпеливым. — Найди повод, быстренько, убедительный повод... быстро, тебе говорят!..

— Мать узника здесь и просит вашей аудиенции, ваше величество.

— Мать узника? — растерялся король. — Что ж ты мне раньше не говорил?.. Нельзя ли не принять? Придумай что-нибудь. Скажи, что я ушел, что меня нет...

— Но вы искали повод. Более удобного повода не найти, ваше величество.

— Я не готов к беседе с ней, — всполошился король. — Если бы это был какой-нибудь король или министр, я бы как-нибудь выкрутился. Но я давно не имел дела с простыми людьми. На каком языке она разговаривает, она поймет меня?

— В вашей стране один общий язык, ваше величество.

— Как? — опешил король. — Какой позор! При твоём попустительстве небось! Позор, полный позор. Ну ладно, об этом после поговорим. Скажи, пусть войдет.

Вошла мать Страуда, молча поклонилась и протянула королю прошение. Король никак не мог взять себя в руки и пытался не смотреть на нее. Поэтому он уткнулся в прошение, несколько раз подряд прочел одни и те же строки.

Мать прибыла из глухой провинции. Она села на поезд и, не доезжая километров пятьдесят до столицы, сошла, потому что решила оставшийся путь проделать пешком. Когда ее спрашивали, почему она так поступила, она серьезно отвечала: «Чтобы было время подумать, что королю говорить». В руках ее был маленький чемоданчик, все деньги, какие у нее были, она раздала нищим. Потом стала побираться сама. Да с такой легкостью, словно это было ее привычным занятием. Обедала она раз в день и ела очень немного. Ночью спала в открытом поле, а утром засветло пускалась в путь. Это была уловка трусливого, несмелого человека. Она нарочно создавала на своем пути трудности и лишения, чтобы внушить самой себе, что миссия ее справедливая. И действительно, чем дальше, тем фанатичней делалась она. В конце концов вся эта бессмыслица родила в ней слепую веру, некую прямолинейную твердолобую непоколебимость, Как бы это ни показалось странным, сын был вроде бы даже и позабыт, как-то отступил на второй план. Она вообще шла воевать. Может быть, даже желая отомстить за неудачу, выпавшую в свое время мужу. Такая вот усталая, фанатичная и злая она дошла до столицы. В столице все это ей понадобилось, чтобы добиться одного: получить право свидания с королем. И когда это право было наконец получено и она предстала перед королем, это была прежняя обездоленная, безответная женщина, которая могла только плакать. И она заплакала.

Король растерянно смотрел на первого министра. Сейчас он был в самом деле очень и очень беспомощен.

— Первый министр, подумай, что можно сделать, — взволнованно сказал король. — Это действительно хороший случай. Я хочу отпустить на свободу сына этой женщины.

— Это невозможно, ваше величество, — ответил первый министр. — Он совершил преступление. Преступление не может быть ненаказуемо. Если не будет лишения свободы, не будет и самой свободы.

— Нашел время изрекать истины. Вызови министра справедливости.

Мать встревоженно переводила взгляд с короля на первого министра и хотела понять, что у этого министра против ее сына. Так и не поняв этого, она спросила себя:

почему же король на стороне ее сына? Оба эти обстоятельства показались ей чрезвычайно подозрительными.

Не постучавшись в дверь, вошел министр справедливости.

— Послушай, сын этой женщины совершил убийство, но я хочу отпустить его на свободу. Как быть?

— Никак, ваше величество. Это нарушение закона. А если нарушится закон, наказание, предусмотренное для выпущенного на волю узника, должен буду понести я как министр справедливости.

— Ему двадцать лет только было, — слышался голос матери.

— Но разве это аргумент, мадам? Другого, более убедительного аргумента у вас нет?

Мать покачала головой, ей показалось, она все сказала этой одной фразой.

— Как же быть все-таки? — искренне и озабоченно повторил король. — Кто учредил этот закон?

— Вы, ваше величество.

— Опять я? Вызвать министра трудных случаев.

Явился, словно из-под земли вырос, министр трудных случаев.

— Сын этой женщины совершил убийство, но я хочу отпустить его на свободу. Как быть? Нельзя ли изменить закон?

— Это невозможно, ваше величество. Закон может быть изменен в одном случае. Извините за дерзость... Если сменится король.

— Я? Опять я? Вы что, сговорились все?

— Это мой единственный сын, — вновь послышался несмелый голос матери.

— Но разве это аргумент, мадам? Более убедительного аргумента у вас нет?

Мать покачала головой, так как была уверена, что уж на этот-то раз она все сказала.

— Как же быть, как же быть? — взволновался король. — Не понимаю, получается так, что я, король этой страны, не имею права делать то, что хочу? Допустим даже, что я не прав... Надо же, раз в жизни захотел сделать доброе дело и вот... — И он рассерженно закричал на первого министра: — А если б захотел сделать что-нибудь плохое, небось получилось бы?! Сколько зла, подумать, совершили мы с тобой! Помнишь, как мы отравили моего кузена? А моего кума?! Ты убил его! Не бледней, не бледней, по моему приказу и убил. Король свою вину на другого не перенесет. — И он еще громче заорал: — В бассейне, самым гнусным образом! Ты ведь не можешь сказать, что забыл это! Похороны, правда, были пышные. И кто нам тогда помешал? Кто схватил нас за руку, кто сказал: «Что вы делаете?»? Вызвать министра особо тонких дел!

Явился министр особо тонких дел. Мать, несмотря на терзавшую ее боль, с любопытством наблюдала этот парад министров. Чудовищное признание короля не настроило ее против него. Напротив, король понравился ей еще больше.

— Сын этой женщины... словом, ты понял меня. Что можно сделать? Так, чтобы не причинять вреда министру справедливости, ну и, разумеется, чтоб ваш король остался на своем месте.

— Есть только один выход, ваше величество, — ответил министр особо тонких дел. — Поскольку наша страна разделена на пятьдесят штатов, удобнее было бы изменить закон только в одном штате, то есть в том самом, в котором проживает мой король и вышеупомянутый узник.

— Ну вот! — обрадовался король. — Слава богу, наконец-то нашелся человек, который готов пойти мне навстречу. Весьма тебе благодарен.

— Это мой долг, ваше величество, вы платите мне за это жалованье.

— Сам же и займешься этим вопросом.

Мать в этой ситуации больше даже за короля обрадовалась, чем за сына. Сейчас она была ярой его поклонницей. Такой молодой, такой красивый и настолько

король! Она мысленно сравнила с ним сына, сравнение оказалось не в пользу сына. «Что же это ты?» — пожурила она его про себя.

— Ваше величество, к сожалению, мне тут нечего делать, — сказал министр особо тонких дел. — Дело в том, что мое предложение, которое вы так высоко оценили, невозможно провести в жизнь.

— То есть как это?.. — удивился король.

— Для этого вы должны упомянутый штат уступить какой-нибудь другой стране. Закон в штате может измениться только в том случае, если какое-нибудь другое государство захватит этот штат. Правда, потом мы можем отвоевать его обратно.

— Уступить штат! — покраснел от возмущения король. — Что это еще за шуточки!

— Шуточки? Но ведь вы всегда подчеркивали мое преимущество как министра, указывая на то, что я начисто лишен чувства юмора. Что же касается моего нового предложения, его тоже невозможно осуществить, так как наши соседи... наши соседи все без исключения слабые страны. Мы ведь не можем уступить штат слабой стране. Это подорвет наш авторитет. Следовательно, нам надо выбрать какую-нибудь из этих стран и укрепить ее, сделать мощной. А это нам влетит в копеечку, ваше величество.

— И в таком случае получится, что мы уступаем штат сильному государству? — опасно поинтересовался первый министр.

— Но это тоже подорвет наш авторитет. Мы будем вынуждены тут же пойти войной на эту страну, что также влетит нам в копеечку.

— Это и есть переворот! — в бессильной ярости заметался король. — Вы все против вашего короля. Я и не знал, что вы давно уже свели счеты со мной. Вы что, с ума посходили? — Он вдруг замолчал и своим династическим чутьем почувствовал, что настала решающая минута. Если он даст им сейчас послабление, они запомнят это и когда-нибудь отомстят. И как это ни парадоксально, отомстят именно за то, что он не смог высоко держать свою королевскую честь. И он деловито спросил: — Сколько человек решено было отпустить в последнюю амнистию?

— Восемьдесят одного, ваше величество. — Глаза у первого министра заблестели, потому что он уловил какую-то перемену в голосе короля.

— Пожизненное заключение всем! — почувствовав наконец себя в своей стихии как настоящий король, приказал он. — Скольких человек решили освободить от виселицы и приговорить к пожизненному заключению?

— Восемнадцать, ваше величество, — ответил первый министр, любуясь своим королем.

— Вздернуть всех!

— Слушаюсь, ваше величество, — сказал первый министр, гордясь тем, что король снова страшен.

Мать тоже мысленно подбадривала короля. Он был прав, во всем прав, прав и тогда, когда считал, что этим арестантам не следует даровать помилование. Так, значит, им и надо. И хотя сама она была здесь с подобным вопросом, но почему-то никак не связывала свое дело с происходящим. Она тоже гордилась этим молодым и решительным королем.

Без вызова, один за другим вошли удалившиеся было министр справедливости, министр трудных случаев и министр особо тонких дел. Вошли и вытянулись в струнку.

— Слушаюсь, ваше величество, — трезво и испуганно сказал министр справедливости, испытывая величайшее удовольствие от собственного страха.

— Слушаюсь, ваше величество, — трезво и подавленно сказал министр трудных случаев и подумал, что всегда, во всех ситуациях он грудью встанет на защиту своего короля.

— Слушаюсь, ваше величество, — трезво и трепеща от страха, сказал министр особо тонких дел и пожалел, что весь министерский кабинет не наблюдает их унижения.

— Вы свободны, — пренебрежительно сказал король министрам.

— Это я во всем виновата... — вдруг послышался голос матери. — Если бы я смогла вовремя оградить сына...

— Ну что это за аргумент, мадам? — удивились министры. — Более серьезного аргумента у вас нет?

Мать отрицательно покачала головой и подумала, что они правы, правы с самого начала... И зачем только она прошла пятьдесят километров пешком.

— Разрешите хоть повидать сына, ваше величество, — сказала она, когда осталась наедине с королем.

— В другой раз не говорите, что это вы виноваты, — мягко, как вначале, улыбнулся король. — Если будете настаивать на этом, вас тоже арестуют. И не говорите, что это я вас предупредил...

— Могу я видеть своего сына?..

— Сейчас что-нибудь придумаем, — шепотом сказал король. — Только чтоб никто не узнал. Обещайте, что это останется нашей с вами тайной.

Он приподнял ковер, под ним на дощатом полу был квадратный люк. Король открыл деревянный люк, и внизу показалась одна из камер-одиночек Алькатразской тюрьмы. Король лег на пол и стал смотреть в щелку.

— Как его звать? — спросил он мать.

— Боб.

— Боб, а Боб... — шепотом позвал король. Послышался скрип кровати, и под люком возник человек. — А ну принеси лестницу... — тихо сказал король, — вон она, в углу.

Страуд принес лестницу, прислонил к люку. Король пальцем подозвал мать. Мать с осторожностью спустилась по лестнице и очутилась у сына на руках.

— Боб... как же ты похудел... мальчик мой... и небритый... — Два обстоятельства, которые мать не могла не заметить с первого же взгляда. И дальше вопрос, который ее тревожил и который надо было первым делом выяснить: — Тебя тут не бьют, Боб?..

— Нет, ма, что ты говоришь! — засмеялся Боб.

— А голодом не морят?..

— Да нет же, ма, почему должны морить голодом?

— Будь всегда послушным, слушайся их, Боб... если будешь так себя вести, может, пожалеют, отпустят... слышишь, сынок...

Она враждебно, осуждающе оглядела стены, увешанные клетками, в которых щебетали различные птицы. Житейский опыт и любовь подсказали ей, что именно это и есть знак непокорности сына. Еще что выдумал, подумала она, какие-то дурацкие птицы, зачем ему все это...

— Не беспокойся, ма... Расскажи лучше о себе... — Страуд все еще не мог прийти в себя. — Как ты?.. Ноги не болят больше?.. Как соседи поживают? По вечерам опять заходишь к ним? В карты играете по-прежнему?

Ты всегда проигрывала, ма... и все равно продолжала играть.

— Боб, это правда, что тебя не бьют?..

— Э, ма... а помнишь, как ты меня лупила?

— Один только раз, Боб...

— Я не хотел идти в школу... Сказал, что палец болит. Ты перевязала на ночь палец, и я, счастливый, заснул. Утром ты спросила меня: «Ну как палец?» Я схватился за палец и застонал, а ты меня хорошенько отколошматила и отправила в школу. Потому что ночью ты сняла повязку с моего пальца и перевязала тот же палец на другой руке.

Мать с сыном засмеялись, им обоим хотелось бы, чтобы у этой истории было побольше деталей.

— А как это случилось, Боб?.. — вдруг сделалась серьезной мать. — Ну, это...

— Не надо, ма. Зачем тебе, какая польза от этого?

— Верно, верно, не надо, — как-то рассеянно сказала мать. — А правда это, до меня дошло, будто из-за какой-то женщины?

— Приблизительно, — уклонился от ответа Страуд.

— Боб, а ты не женишься на ней? — забеспокоилась мать, и в глазах ее показалось что-то недоброе.

— Нет, ма... уже невозможно... Тот человек между нами... если мы женимся, мы возненавидим друг друга...

— Значит, не женишься? Слава богу, — обрадовалась мать. — Ты даже не знаешь, как меня успокоил. Слово камень с души упало. — И она серьезно добавила: — Мы подыщем тебе хорошую девушку.

— Мадам, поторапливайтесь, — сказал король, который, лежа на полу, наблюдал за ними в щель. — Ко мне могут прийти. Неудобно. Что подумают?

Свидание показалось матери очень коротким. Она никак не предполагала, что попадет сегодня к сыну, и ничего для него не взяла с собой.

— Да мне ничего и не надо, ма...

— Погоди, погоди... — Она панически стала рыться в карманах, вывернула их, собрала всю мелочь и сунула Страуду в руку. — Обижусь, Боб, так и знай, что обижусь, не отказывайся... — Потом скинула обувь, сняла черные носки, протянула их Страуду. — Молчи, бери и не разговаривай. Оденешь, когда будет холодно. Какое еще стыдно, никто не увидит. — Она сняла с головы платок, протянула сыну, — пригодится, мало ли. Она дала ему свои варежки, носовой платок, маленькое зеркальце, расческу... Больше у нее ничего с собой не было. Страуд не мог противиться и только улыбался.

— Поторопитесь, мадам.

— Ма, кто это там говорит?

— Это наш король, — шепотом сказала мать.

— Какой король? — удивился Страуд.

— Наш... мой и твой.

Страуд, опешив, посмотрел вверх. Король улыбнулся ему в щелочку и помахал рукой.

— Это я, Боб, твой король. Не думай обо мне плохо. Я виноват, знаю. Ты на моей совести... ведь я отец тебе. Я всем отец. Ах, если бы твоя мать сумела вовремя оградить тебя. Если б ты не бродяжничал всю жизнь. Но все эти «если» в конечном счете бьют по мне... Да, да, это все моя вина.

— Нет, ваше величество, — вздернув голову, трезво сказал Страуд, — у нас с вами ничего общего. Вы сами по себе, я сам по себе. Это именно так. Виноват тот Мужчина.

— Тот Мужчина я.

— Вы знали его?

— Нет, конечно же, нет. Ну ладно, помоги матери подняться.

Страуд и мать обнялись. Мать со слезами на глазах, босая, держа в руках туфли, поднялась по лестнице. С последней ступеньки, что-то вспомнив, она обернулась:

— Боб, ради бога, перестань возиться с этими птицами... Это может рассердить их... будь скромным, будь послушным...

Люк закрылся.

Страуд, задрвав голову, смотрел на знакомый потолок и пытался понять, где же щель от люка.

— Я обо всем позабочусь, — говорил наверху король матери. — Найму самых знаменитых адвокатов, приглашу из-за границы. Сначала все расходы возьмете на себя вы, а когда у вас не останется ни гроша и вы достигнете степени нищенства, я приду вам на помощь. Я знаю, у меня нет права лишать вас акта материнского самопожертвования. С моей стороны это было бы нечутко...

— Ваше величество... но почему так получилось... почему вы не смогли ничего сделать? — Она зарыдала, в эту минуту ей было жалко и себя, и сына, и умершего мужа, и короля. — Какой же вы после этого король...

— Понимаю, понимаю, — искренне вздохнул король, — но именно в этом наша сила, в демократии. Век тирании прошел. Давно прошел, мадам.

Он взял мать под руку и проводил ее до дверей. Потом вернулся, встал прямо там, где был люк; внизу еще виднелся Страуд. Король прислушался.

— Мама... я боюсь... не оставляй меня одного...

— Кажется, мои расчеты оправдались... — пробормотал король.

И король снова стал решать в уме арифметическую задачу: если этот неграмотный узник творит, значит, он свободен, если свободен, значит, надо уничтожить, если невозможно уничтожить, если так и так весь мир вскоре должен услышать о нем, значит, он гордость, национальная гордость, значит, надо освободить...

— Расчеты были верные... — Король томно развел руками.

Потом поднял занавес и прошел в другой кабинет, чрезвычайно просторный, ошеломляюще роскошный. На стене красовался один-единственный флажок — символ королевства, и, что самое главное, здесь было полным-полно стульев.

ФАКТОГРАФИЯ

Пернатое семейство Страуда росло день ото дня. Человек этот, приговоренный к пожизненному безделью, не имел ни секунды свободного времени. Он выкармливал птенцов, наблюдал за их повадками и даже обучал птиц различным трюкам. Это было поистине чудо: в искусственных условиях, в тюрьме, птицы размножались, давали потомство. За один год число канареек достигло пятидесяти. Страуд попросил передать канареек его матери, с тем чтобы она продала их и выручку взяла себе. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно Страуд наблюдал за своими подопечными. Теоретические познания, почерпнутые из книг, он незамедлительно применял на деле. Когда одна из птиц погибла, Страуд осколком разбитой бутылки и ногтями произвел вскрытие и ознакомился с анатомическим строением птицы. Постепенно Страуд изменился, стал неузнаваемым. Его единственным желанием было учиться, постигать тайны природы, изучать животный мир и причины его многообразия. И чем больше он узнавал, тем более несовершенными считал свои познания. Тюремный библиотекарь с удивлением отметил, что за эти годы Страуд проштудировал около десяти тысяч книг. Однажды Страуда постигло несчастье. Птицы его одна за другой стали болеть и умирать. Страуд при помощи книг определил у них злокачественную лихорадку. Его ужаснуло описание этой неизлечимой болезни. Все совпадало. Точка в точку. С большими трудностями он получил из тюремной больницы кое-какие лекарства и стал составлять различные смеси из них, все время меняя дозы. Он проделывал опыты над умирающими птицами, чтобы спасти остальных, еще не заболевших... После долгих и неудачных попыток ему наконец удалось спасти одну птичью жизнь. Он не верил, что нашел средство борьбы с неизлечимой болезнью, то есть открыл лекарство, над которым ученые всего мира тщетно бились десятки лет.

Открытие это имело колоссальное значение не только для орнитологов, но и для хозяйства страны, для его государственного бюджета. Страуд написал о своих опытах книгу, следом еще одну, затем третью. Книги эти стали известны в Советском Союзе, Англии, Франции, Голландии, Бельгии, Японии, Австралии и сделались необходимым пособием для орнитологов. Они были изданы даже по системе Брейля — для слепых. Страуд ничего не знал об этом. Он узнал про все это через много лет. К тому времени он написал еще несколько книг и являлся крупнейшим авторитетом в области орнитологии. Ему позволено было переписываться с отдельными учеными и научными обществами. Единственное условие — никто не должен был знать, что адресат — узник. Корреспонденция прибывала по адресу: абонементный ящик 7, до востребования. Он получал со всех сторон приглашения и хранил упорное молчание. Впоследствии, много лет спустя, когда тайна всемирно известного орнитолога была раскрыта, все задавали один и тот же вопрос: как смог полуграмотный узник с трехклассным образованием обрести славу мирового ученого, несмотря на то, что был поставлен в такие условия, когда вообще исключается любая возможность достичь чего-либо? И все, словно сговорившись, давали одно и то же объяснение: всю свою любовь к жизни он выразил посредством птиц.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Приглашений было так много, что в конце концов придворные были вынуждены устроить хотя бы один спектакль. Приглашение от местного общества орнитологов было принято. Страуд в сопровождении надзирателя отправился на встречу. Его везли в закрытом автомобиле. У него кружилась голова, и было чувство легкого опьянения. Он уже целую неделю с нетерпением ждал этого дня, готовил речь, составлял планы, репетировал перед маленьким осколком зеркала, но сейчас все вылетело из головы, сейчас у него сильно колотилось сердце. Он был чрезвычайно растерян и напуган. Он даже предпочел бы вернуться в камеру и избежать счастливого вечера. Ему все время казалось, что ему надо сбежать в туалет.

За Страудом по пятам следовали тюремные психологи, им надо было измерить, сколько квадратных метров свободы прошел узник. Итак, тротуар, от входа до лифта, лифт, прихожая и комната, в которой происходила встреча. Всего пятьдесят четыре квадратных метра. В прихожей Страуд и надзиратель разделись, сдали пальто. Оба были в дорогих костюмах, специально сшитых для них лучшим портным страны по последнему слову моды.

— Не забудь про условие, — сказал надзиратель, — Они не должны знать, что ты узник.

— Но я нехорошо себя чувствую в этой одежде, — побледнел Страуд. — Как-то ненадежно в ней.

— И мне, Страуд, не по себе. А все ты. Я знаю, ты еще много бед принесешь мне.

— Не отходи от меня.

— Будь смелее. Никто не заметит, что мы неуверенно себя чувствуем.

— Не отходи, не отходи от меня, — Страуд был в панике. — Я не люблю незнакомых людей.

Они вошли в просторную комнату, где группа орнитологов с нетерпением ждала их. Собравшиеся почтительно поднялись, чтобы приветствовать Страуда. Страуд напряженно кивнул головой.

— Если вы собрались для того, чтобы узнать секрет моего нового лекарства, уверяю вас, ваши усилия напрасны.

Это заявление Страуда привело ученых в замешательство. Они недоуменно переглянулись. Больше всех был смущен надзиратель.

— Просто нам было интересно увидеть вас, — сказал председатель общества. — Ваши труды приводят всех в восторг, мы хотели засвидетельствовать это.

— Но я готов в случае надобности посылать вам его, — продолжал Страуд. — Когда и сколько захотите. Не так ли, надзиратель?

Надзиратель побледнел. Все из вежливости пытались улыбаться. Страуд сообразил, что допустил ошибку.

— Извините, я не представил вам своего секретаря, — сказал он. — Извольте. Всюду сопровождает меня, следит за каждым моим шагом.

— Я высоко ценю ваш талант, — промямлил надзиратель.

— И потому я называю его надзирателем. Если мне когда-нибудь удастся освободиться от этого ненавистного человека, я, наверное, снова почувствую потребность в нем. Я уже не представляю свою жизнь без него.

— В конце концов у каждого из нас есть свой надзиратель, — любезно улыбнулся надзиратель. — А если такового нет, мы сами делаемся своим собственным надзирателем.

— Садитесь, Страуд, — председатель указал на кресло. Все уселись. Разговор не клеился. — У нас есть о чем поговорить. Я думаю, что выражу мнение всех, если скажу, что мы давно ждали этой встречи. Нас интересует...

— Я хочу сесть у окна, — перебил его Страуд и повернулся к надзирателю. — Можно? Сейчас на улице самый час «пик».

— Пожалуйста, пожалуйста, — растерялся председатель. — Где вам будет удобно.

— И этого ненавистного человека посадите рядом.

Создалась тяжелая и гнетущая атмосфера. Единственный, кто ничего не чувствовал, был сам Страуд. Как это ни удивительно, это были самые искренние, самые чистые минуты в его жизни. Он был само естество — такой весь неуравновешенный, счастливый, возбужденный. Забыв обо всем, Страуд завороченно смотрел из окна.

— Вы, очевидно, ведете уединенный образ жизни, — заговорил наконец один из ученых и тем самым прервал постыдное и длительное молчание.

— Вы хотите сказать, что я веду себя среди людей как дикарь? — Страуд вскочил с места, словно ужаленный.

— Боже упаси! — тут же пожалел о своей инициативе ученый. — Я просто хотел сказать, что было бы желательно ваше присутствие на наших собраниях.

— Так позовите меня. Почему вы не приглашали меня до сих пор? — Страуд начал удивляться недогадливости этих людей. — Я с удовольствием приму ваше приглашение. Не так ли, надзиратель?

— В зависимости от обстоятельств... — натянуто улыбнулся надзиратель.

— Мы можем установить личные контакты и приглашать друг друга... — Страуд хотел перехитрить судьбу. — Я никогда не откажусь. Ты разрешишь, надзиратель?

— Безусловно, безусловно... если позволит ваше время...

— Я могу быть хорошим собеседником, — воодушевился Страуд, в эту минуту даже надзиратель готов был пожалеть его. — Лишь бы вам удалось завоевать мое доверие и внушить мне симпатию. Я должен знать, с кем я имею дело... Ты согласен, надзиратель?

— Вы совершенно правы...

— Врет он, не верьте ему! — не выдержал Страуд. И случилось это не потому, что он увидел, что хитрость его не удалась — напротив, он вдруг поверил, что-таки провел судьбу. — Он всегда подавлял мою волю! — кричал Страуд, — он не разрешал мне ступить без него ни шагу... Ради бога, освободите меня от него! — умолял он. — Разрешите мне остаться в этом доме, разрешите... — И тут он пришел в себя. Но было уже поздно. От растерянности Страуд начал гладить надзирателя по голове. Оба они тяжело дышали и мечтали только об одном — как можно скорее очутиться в тюрьме.

— Не обращайтесь внимания, — побагровев, весь в поту, сказал надзиратель. — Иногда у него бывают подобные странности... Потому-то он и избегает публичных встреч...

После каждого его слова Страуд усердно кивал головой.

— Очевидно, наука поглощает все ваше время... — Председатель пытался смягчить впечатление от инцидента.

— Если вы станете говорить о науке, я уйду, — буркнул Страуд. — Я сегодня хочу развлекаться. Нет ли чего выпить?

— Минуточку. — Председатель открыл бутылку, стоявшую на столе, наполнил стаканы и сказал сокрушенно: — Но должен признаться, что все мы довольно-таки беспомощны по этой части.

— Я постараюсь выполнить вашу просьбу, — раздался вдруг женский голос.

Это была единственная женщина в комнате. До этой минуты Страуд не замечал ее. Он вообще никого не замечал (через несколько дней он сможет все до мельчайших подробностей вспомнить и пересказать себе). Женщина была высокая, с длинными волосами, в черном и узком вечернем туалете — тот стандарт красоты, который Страуд свято хранил в своей памяти. Женщина стояла подбоченившись. Легкими шагами, не глядя кругом, но обращая ни на кого внимания, она подошла к граммофону, поставила пластинку со старым танго и пригласила Страуда танцевать. Приглашение было очень неожиданным и очень желанным. Страуд напряг память, собрал все силы и отчего-то призвал на помощь сложную математическую формулу.

— Вы произвели на нас довольно-таки скверное впечатление, — сказала женщина. — Вы в самом деле странный человек или попросту скандалист?

— Но я очень хотел произвести хорошее впечатление, — огорчился Страуд.

— Или вы мните себя настолько гениальным, что простые смертные вас уже не интересуют?..

— Напротив, мне здесь очень понравилось, я всех бесконечно любил, — искренне сказал Страуд. — Это самый лучший день в моей жизни. Я никогда, никогда не забуду его... — Потом неожиданно спросил: — Как вас звать?

— Гера.

— Гера, вы какими духами пользуетесь?

— Мне кажется, когда впервые обращаются к женщине по имени, следует спросить о чем-либо более существенном.

— Я влюбился в вас, Гера.

— Ого, — засмеялась женщина, — так вот, сразу?

— У меня нет времени, — сухо сказал Страуд. — Мое время дорого.

— Не пытайтесь быть еще более отталкивающим, — оскорбилась женщина. — Вам это уже удалось сполна.

— Будь на вашем месте другая женщина, я бы влюбился в нее. Лишь бы от нее пахло теми же духами.

— Знаете, ваш дорогой костюм не соответствует вашему характеру. В чем дело?

— Гера, в этом доме так много комнат, нам, наверное, надо уединиться. Хотя мне не хочется. Не обращайтесь внимания на моего надзирателя.

— Ну, Страуд, я уже не знаю, смеяться мне или сердиться.

— Я спешу, — лихорадочно проговорил Страуд. — У меня считанные минуты.

— Мне кажется, вы просто нашли удобную форму существования.

— Гера... а эти люди, что собрались здесь... смогли бы они танцевать на телефонных будках?.. — спросил вдруг Страуд, целиком захваченный своей фантазией. — Только не говорите, что это слишком маленькое пространство...

— Страуд... знаете, вы даже скучны... честное слово...

— Я бы все отдал, чтобы еще раз увидеть вас.

— А хоть завтра, — невольно, а может быть, из чувства противоречия сказала женщина.

— Не могу. Это выше моих сил.

— А я хочу, — сказала женщина. — Завтра в восемь. вечера. Я буду ждать вас в порту на набережной.

— Я не приду... но прошу вас... вы будьте там в восемь... — взволнованно сказал Страуд и почувствовал, что задыхается от счастья, на секунду даже счастье показалось ему чем-то близким к тошноте. — Я с нетерпением буду считать часы... и вы побудьте там, подождите меня десять минут, только десять... Очень вас прошу... — И вдруг он на половине оставил танец. Внимание его что-то привлекло — он заметил чучело орла, висевшее на стене. — Не продадите ли мне это чучело? — обратился он к председателю. — Оно мне очень нравится.

— Я могу подарить вам его, — опешил председатель.

— Ни в коем случае, — категорически отказался Страуд. — Устроим честный обмен. — Он пошарил в карманах. Ничего там не обнаружил и впал в глубокую задумчивость, потом встрепенулся. — Я дам вам мои часы, чистое золото.

— Они стоят гораздо дороже, — занервничал надзиратель.

— Ничего, посчитаем, и они вернут нам разницу деньгами.

— Но я подарю, зачем же...

— Нет, нет, дарить не надо, — разгорячился Страуд. — Я еще что-нибудь подберу, разумеется, с вашего согласия.

— Не теряйся, — восторженно зашептала Гера председателю. — Если станешь торговаться, я соглашусь выйти за тебя замуж.

— Не понимаю, что за позор такой, — проворчал председатель и так несвоевременно, так не к месту сообразил, что эта женщина никогда его не любила.

— Но он в самом деле большой ученый, — уколола его женщина.

— Большой? Великий! Он один больше, чем все мы, вместе взятые. — И председатель обратился к Страуду, который внимательно изучал чучело: — Я должен просить, чтобы вы подписали свои книги, это будет дорогая память для нас.

— Пожалуйста, — мягко сказал Страуд и старательно подписал все книги. Вдруг в нем возникла острая потребность пообщаться с этими людьми. — У вас не бывает такого чувства?.. Когда читаешь рукопись, написанную на бумаге твоим почерком, все кажется гладким и убедительным, а когда видишь свой текст, отпечатанный на машинке, начинаешь сомневаться... А уж когда выходит книга, все ошибки и недостатки разом встают перед тобой. Такие иногда встречаешь ляпсусы, что диву даешься, как это не заметил сразу. И кажется, книга уже не твоя, какое-то отчуждение возникает. Я считаю, это очень честное чувство. Потому что только после этого можно переходить к следующей книге.

Все с приятным удивлением смотрели на Страуда, в особенности надзиратель, который наконец свободно перевел дух. Страуд вел себя и говорил таким образом, словно он всю жизнь провел в кругу этих людей. Словно был старым членом этого общества. Блестящим знатоком коктейлей и шампанского, постоянным партнером в бильярде, незаменимым ценителем изысканных яств, непревзойденным рассказчиком самых свежих и самых пикантных анекдотов.

— А когда у вас бывает неудача, — поинтересовался один из ученых, — определенная неудача?

— Пусть не покажется это странным, но скажу вам, что неудача — это тоже своего рода счастье. В эти минуты, наверное, более, чем в другие, я чувствую себя человеком, таким, знаете, добрым и сентиментальным. А ведь основа творчества — доброта. Даже когда речь идет о самых прозаических формулах. Не люблю очень Удачливых людей. Еще очень здоровых. Не знаю, может быть, есть доля кокетства в моих словах, но, мне кажется, я искренен.

— Я совершенно с вами согласен, — сказал председатель. — Я бы сказал, что творчество само по себе уже свобода, самая совершенная форма свободы. И если мы...

— Простите, что перебиваю вас. Интересно было бы знать, сколько денег на вашем банковском счету?

— Денег?.. — удивился председатель. — Но мы так славно беседовали...

— Ну ладно, я не настаиваю. Если вам не хочется, не говорите. Что, надзиратель, не пора ли нам домой? — И устало и искренне Страуд прибавил: — Здесь хорошо... очень хорошо... но дома лучше...

— Может быть, поужинали бы с нами? — вежливо предложил председатель. — Слишком рано уходите.

— Если есть бутерброды, мы возьмем с собой, — сказал Страуд, окончательно потеряв все связи с миром. — Заверните, отдайте надзирателю. — Он низко поклонился всем. — Прощайте. Мы провели прекрасный вечер. Незабываемый. Благодарю вас.

Страуд и надзиратель вышли из зала. Психологи, которые незаметно следовали за ними, вдруг спохватились, что забыли присчитать метраж обратного пути. А тут еще Страуд прошел в туалет. Как быть, присчитывать?

— Я перехватил твой взгляд, — немного погодя сказал Страуд надзирателю. — Если бы не ты, я бы купил это чучело. Ты почувствовал, что я мог бы его перехитрить? Дал бы ему часы, взамен бы взял кучу вещей.

— Несчастный! — шепотом, сам не свой от ярости, взорвался надзиратель. — Арестант... узник...

— В самом деле, я так выглядел? — испугался Страуд. — Как узник?.. Как арестант?..

— Да уж так это, будь ты хоть трижды великий ученый, все равно ты житель моей тюрьмы, — злорадно усмехнулся надзиратель. — Мой квартирант!

— Не может быть! — содрогнулся Страуд. — Я держался непринужденно... Даже слишком непринужденно...

— Ничтожество... тебе померещилось, что ты выше меня... что больше я над тобой не властен...

— Не говори так, прошу тебя... — Страуду казалось, все идет прахом, рушится то, что далось ему с таким трудом, к чему он шел миллиметр за миллиметром. Изю дня в день много лет. — Мы не можем быть равными... Я Должен быть выше тебя... Во всем. — Он мучительно напряг сознание, чтобы найти свой просчет. Лицо его сделалось багровым, пот тек ручьями по всему телу. — Может быть, мне в самом деле надо было говорить с ними об орнитологии... Но у меня не было времени... Я двадцать пять лет не видел их. Не говори, что мы равны... — И Страуд, сгорбившись от горя, крикнул: — Подержи мое пальто... Держи, тебе говорят! Если ты не подашь мне пальто, я сейчас же вернусь к ним и расскажу всю правду... Ты обязан уважать меня... Подай мне пальто...

Надзиратель, еле сдерживая гнев, вынужден был подчиниться. Он подал Страуду пальто. Страуд надевал его медленно, долго, словно обряд совершал. Не для того чтобы унижить надзирателя, — для чего-то гораздо более важного...

ИНТЕРМЕДИЯ

Поздняя ночь. Все давно разошлись по домам. В помещении царил беспорядок, столы и стулья были сдвинуты, пол затоптан, в пепельницах окурки горой, в рюмках остатки коктейлей. Воздух в комнате тяжелый, полон дыма, сплетен, козней. По пустым огромным залам в темноте передвигалась чья-то тень. То был король, последний правитель, в чьем кабинете хранились дубликаты всех ключей государства. Если творит, значит, свободен, если свободен, значит, надо уничтожить. Если уничтожить невозможно, если весь мир знает о нем, значит, национальная гордость Алькатраза, надо освободить. Если невозможно освободить...

Многие годы подряд король решал эту головоломку, пытаясь найти к ней ключ. Задача эта касалась только его. Потому что это он олицетворял все то, против чего, сознательно или бессознательно, взбунтовался узник, пожелавший отнять у него право быть единственным в своем роде, решивший тоже что-то олицетворять. Это были личные счеты между ним, королем, и обычным узником. Его сверстником, по странному стечению обстоятельств арестованным в день его коронации. Король не знал еще, что следует также добавить: рабочим фабрики, производившей женские чулки и трикотаж. Да, но вместо того чтобы проясниться, задача все больше запутывалась. Ну что ты, язык проглотил, мой первый министр, молви что-нибудь... А ты, второй министр... Ты, третий министр... Найдите же выход, думайте, соображайте, торопитесь. Из окна стал просачиваться слабый свет, обозначивший мрачные силуэты огромного города. Король подошел к сдвинутым стульям, стал заботливо расставлять их. Потом допил коктейль из одного стакана. Коктейль показался ему чрезвычайно вкусным.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вернувшись с приема, Страуд заболел. Его перевели в тюремную больницу и поместили там в изолятор, где ощущался сильный недостаток воздуха. За дверью, правда, стоял баллон с кислородом.

Врач вытащил термометр из-под мышки Страуда. Температуры не было. Подозрительно. Страуд раскрыл рот, высунул язык. Горло чистое. Более чем подозрительно. Врач посадил Страуда на стул и велел закинуть ногу на ногу. Колено не дрожало. Комбинация из трех этих компонентов предполагала единственный диагноз: крупозное воспаление легких. По всей вероятности, от пережитого волнения. Исходя из его известности, врач назначил ему пенициллин. Будь на его месте другой узник, врач назначил бы что-нибудь другое. По больничному уставу, некоторые лекарства, в том числе и пенициллин, запрещено было прописывать узникам, лежавшим в изоляторе. Другой пункт того же устава гласил, что приговоренных к пожизненному заключению в случае заболевания следует помещать только в изолятор.

— Рассуди сам, разве я виноват, что не могу прописать тебе пенициллин? И тем не менее пенициллин, Это во-первых. Во-вторых, свежий воздух, минимум шесть часов в день. В-третьих, усиленное питание. Побольше меду, отвар шиповника. Все пройдет. Если даже диагноз ошибочен, все равно все пройдет. Я сделал тебе столько добра, — сказал врач, — а ведь ты знаешь, долг платежом красен. Я слышал, ты написал книгу о нашей тюрьме. Всех, говорят, ославил... — Доктор покраснел, по-глупому засмеялся и посмотрел на свои стоптанные новомодные ботинки. — Я тебя очень прошу... впиши туда мое имя... напиши, что тюремный доктор в высшей степени злой и жестокий человек... преступник... безжалостный и бездушный... Поноси меня, как только можешь... Выдумывай что хочешь. Я не обижусь, клянусь, не обижусь. Напротив, буду тебе очень благодарен...

И он ушел, уверенный, что наконец-то возьмет реванш, отомстит за все унижения, за низкое жалованье, за дюжину детей, появившихся на свет в результате неосторожности, за трудную карьеру от фельдшера до врача, за невежество жены и ее косноязычие, за свои стоптанные ботинки. Но в дверях он столкнулся с надзирателем, покорно уступил ему дорогу, и уверенность эта в минуту улетучилась, И когда он оказался по ту сторону двери, он встал обалдело, округлил губы и незвестно почему дунул — «фу».

— Где ж это ты так простыл? — спросил надзиратель больного. — Наверное, тогда, на приеме. Свежий воздух тебе противопоказан. Представь, мне тоже. Если подумать, я свободный человек, не так ли? Но я целыми днями просиживаю в этих стенах и дышу одним с тобой воздухом. Когда я все же изредка выбираюсь домой, на улице меня обязательно прохватывает. Знаешь, о чем я недавно подумал? До меня вдруг дошло, что в конце концов я тоже пожизненно заключенный. Хорошая штука логика, Страуд.

Надзиратель очень напоминал Страуду одного его давнишнего знакомого, которого теперь уже не было в живых. Страуд убил его. Сейчас это был голый и сухой факт, который вот уже много лет не вызывал, не будил в нем никаких эмоций и размышлений. Страуд частенько пересчитывал в уме своих знакомых. С самого начала и до сегодняшнего дня, до сегодняшних его пятидесяти лет. Число знакомых едва достигало пятидесяти. За всю свою жизнь он узнал около пятидесяти человек. У надзирателя и у его давнишнего знакомого, того самого, которого давно нет в живых, была особая страсть к логическим умозаключениям. Чтобы восполнить недостаток образования. Комплекс неполноценности, усмехнулся про себя Страуд, вспомнив старый эпизод из своей биографии. Потом он ужасно загрустил, подумав, что мало того, что у него такой ограниченный список знакомых — к тому ж еще двое так похожи друг на друга.

— Между прочим, поговаривают, будто ты написал книгу о тюрьме, — сказал надзиратель, — наверное, она у тебя с собой, под подушкой небось прячешь. Я вас всех насквозь вижу, все заключенные примитивные люди. Ну вот видишь, в самом деле под подушкой. — И он пренебрежительно добавил: — Вы говорите, будто в камере больше некуда прятать. Но если б даже было куда прятать, все равно б пихали под подушку, — и весьма довольный собой, надзиратель стал перелистывать рукопись. Он снова нашел повод выказать Страуду свое презрение и был в своей стихии. — Хорошо пишешь, Страуд... Аж мурашки по спине бегают... Переполняешься ненавистью... А, про это тоже ты написал. Ну что ж, правильно сделал. Это сразу прольет свет на все... Ага, и про меня есть... Ну как же иначе... хотя неприятно читать... но справедливо, справедливо... Если бы я был приличным человеком, я бы совершил самоубийство... но ведь я не без причины плохой человек, ты об этом подумал, Страуд? Вот взять, к примеру, моего соседа, мясника, его злоба никак не оправдана... он мог быть хорошим человеком к остаться мясником... А у меня это профессия... цель... сверхзадача... попробуй посмотреть на меня с этой точки зрения. Зло на философской платформе... аристотелевская категория... — его лицо выразило недовольство, он поморщился. — А вот это ты неправильно написал... За последний год в тюрьме от тяжелых условий умерло не двадцать семь, а двадцать восемь человек... документальная вещь должна быть точной...

— Надзиратель, во что были одеты ученые? — заговорил в бреду Страуд. — Какого цвета была их форма?

— Форма?

— Сколько им было лет, всем вместе?.. Мне пятьдесят...

— Это плохой признак, Страуд. Больше всего я боялся этого. Если бы ты был обычным узником, плевать. Но я отвечаю за твою жизнь головой.

— Сколько там было комнат... — бредил Страуд. — Я знаю, но не скажу...

— Удивительное дело, я должен плохо кормить тебя, лишать воздуха, солнечного света, создавать для тебя по возможности тяжелые условия — и одновременно отвечать за твою целостность и сохранность, — и, упрекая кого-то, надзиратель покачал головой. — Ну и кашу ты заварил, Страуд. Не расхлебать никому.

— Надзиратель, а что было из окна видно... не помнишь?

— Тюрьму было видно, Страуд, тюрьму. Не люблю, когда человек настолько невезуч.

— Почему ты не пригласишь их сюда... неудобно... я дал им слово...

— Брось, Страуд. Воспоминания — самый большой враг заключенного. Смотри загнешься. — Он покраснел, как-то глупо засмеялся и посмотрел на свои стоптанные, старомодные ботинки. — Как бы то ни было, я всегда давал тебе дельные советы. Отплати-ка мне добром за добро, окажи услугу. Ты ведь у нас прославленный человек, хоть и узник. Замолви словечко, пусть мне повысят жалованье... — Надзирателя, как ни странно, успокаивала мысль о том, что его жестокость predetermined свыше. Что у него никогда не было свободы выбора — того, что было у всех. Даже у этого арестанта она была. А это чего хочешь стоит. — Но знай, если даже ты замолвишь за меня словечко, я все равно не буду делать тебе поблажек. А то ведь повышение зарплаты лишится смысла. Я докажу тебе, что даже твое заступничество не поколеблет меня. И ты наконец станешь считаться со мной. Я конфискую твою рукопись.

Надзиратель взял рукопись и вышел. Вот что он думал: пока он надзиратель, эта вещь не должна выйти в свет. А вот когда в один прекрасный день он перестанет быть надзирателем, он сам ее и обнаружит. Под своим именем, не скрывая своего истинного лица. И это саморазоблачение принесет ему сногшибательную славу.

Когда Страуд очнулся, когда он открыл глаза и увидел потолок изолятора, он попытался вспомнить что-то. Он напряг память, в конце концов вспомнил, что хотел, и спокойно перевел дух. Он должен был стать самоубийцей. Именно так. Это решение было до того понятно и естественно в его положении, что о нем, как о всяком-обычном житейском деле, можно было даже забыть (как это только что случилось со Страудом). Страуд сел в постели, взял обрывок бумаги и неторопливо вывел: «Моя рукопись конфискована. Прошу опубликовать после моей смерти. Гонорар прошу передать моей матери. Страуд». Он свернул записку, вложил ее в маленькую металлическую капсулу, проглотил капсулу и запил ее водой. Потом достал несколько таблеток снотворного и принял их все разом. Когда произведут вскрытие, записку найдут, и весь мир узнает о существовании рукописи. Мысль об этом доставляла ему удовольствие. Еще большее удовольствие доставляла ему возможность насолить надзирателю. Это было в нем сильнее, чем, скажем, волнение или раскаяние перед лицом смерти. Тем не менее он был как-то спокоен. Какие-то узы все же связывали его с

этим миром. Реальные, грубые и ощутимые узы. Если б он еще немножечко помедлил, он, возможно, передумал бы, испугался бы, потерял хладнокровие и ясность мысли. Страуд придвинул кровать к противоположной стене, взял простыню и матрац, поднялся на спинку кровати и выбросил все это из окна. Отломил у стула ножки и тоже выбросил их вон. Выбросил полотенце, стакан, лекарства, полосатую куртку, брюки, носки и туфли. Остался в грязном нижнем белье. Он посмотрел кругом, убедился, что в камере ничего больше нет, и после этого спокойно улегся на металлическую сетку. Вначале он почувствовал приятное неудобство, потом его постепенно стала окутывать дремота. В камеру вошли юный Боб и Гея. Повторилась их история. Боб объяснился Гее в любви. Гея вначале выламывалась, а потом пожалела и с тоской по настоящей любви посмотрела на Боба. И они пошли друг другу навстречу. Они уже должны были поцеловаться, когда между ними затесался Мужчина и балетным жестом поднял руки. Началась борьба между Бобом и Мужчиной. Они царапали друг друга, пытались вцепиться в волосы, плевались. Потом Мужчина, поверженный, лежал на земле. Боб победно поставил ногу ему на грудь. Гея и Боб поволокли тело Мужчины из комнаты. Гея баюкала младенца. Боб, счастливый, пил чай и смотрел телевизор, по которому передавалась все та же история, его и Геина. Потом послышался чей-то голос: «К вам обращается корреспондент самой крупной в мире газеты. Ваше предсмертное слово! Постарайтесь быть лаконичным и образным». Это требование показалось Страуду вполне справедливым, Что ж, он будет лаконичным и образным.

— Я тридцать лет живу в этой тюрьме, но ни разу не видел, как выглядит здание снаружи...

Вдруг он объявился в лабиринте узких улочек. Проворно сориентировался, перешел улицу. Прочел по дороге все вывески. Выпил в закуской пива, съел рыбу, вытер руки об одежду. Потом запустил камнем в витрину, разбил ее, радостно высунул язык, убежал и очутился в новом лабиринте. Как загнанный зверь, стал крутиться и озираться кругом. И вдруг с облегчением перевел дух: наконец-то нашелся выход. Впереди был тупик.

Надзиратель вошел в камеру Страуда, быстро приблизился к кровати и в ужасе уставился на своего подопечного. Так он и знал. Разговоры Страуда не понравились надзирателю. Пожизненно заключенный не должен иметь воспоминаний. Если они появились, все кончено...

— Помогите! — встревоженно кричал он. — Я не виноват... Я тут ни при чем... Я говорил, не надо возить его на прием... — Потом неожиданно распрямил плечи и с достоинством заключил: — Я обыкновенный надзиратель... Давайте мне обыкновенных заключенных...

ИНТЕРМЕДИЯ

В камере на потолке обозначилась щель, сверху спустили лестницу, и через некоторое время на лестнице показался какой-то человек. То был король, последний правитель страны. Он покрутился в камере, с любопытством все оглядел, и от спертого воздуха у него заныл зуб. Потом он придвинул кровать к противоположной стене, встал на спинку и выглянул в крошечное окно. Он удивился, почему это из его окна, которое находится прямо над этим, не видно тех же верхушек деревьев и тех же крыш. Он спрыгнул вниз и вдруг лег на голую сетку. Он с нежностью вспомнил мать, которая с малых лет приучала его спать на жестком матрасе. Пусть нищие спят в мягких постелях, — внушала ему мать. Ну ладно, не дрейфь, надзиратель, врачи спасут его. Зато я нашел выход. И знаешь, кто мне подсказал его? Он сам же и подсказал. Самый простой выход. Узник умрет сам, естественной смертью. И не вздумай отравлять его, дурак. Здесь твои приемы не годятся. Здесь должен решать король. Король же обязан выбрать более сложный, более честный путь. Король поднялся с кровати и быстро взбежал по лестнице. И пусть автор теперь приблизит финал! Потому что король нетерпелив.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Страуд кормил птиц, самодельные клетки были без дверец. В сопровождении двух верзил-конвойных в камеру вошел надзиратель. Он быстро и деловито приблизился к Страуду и обнял его.

— Это впервые, Страуд. Поверь, что впервые в жизни. Мне всегда были противны заключенные, от них пахнет тюрьмой.

— Что случилось, надзиратель? — смешался Страуд. — Почему ты такой радостный?

— Радостный? Напротив. Ведь мы были достойными противниками.

— Говори же, что произошло. — Страуд схватил надзирателя за ворот и прижал его к стене. Радость была настолько неестественна в этой камере, что ничего хорошего не могла предвещать.

— Тебя переводят в другую тюрьму.

Конвойные подошли к Страуду и схватили его за руки.

— Надзиратель, что им надо от меня? — в ужасе закричал Страуд. — Скажи, пусть не трогают меня... Я их не знаю... Лучше ты сам! Пусть не они избивают, ты!..

— Какая разница, Страуд, кто бьет?

— Не могу, когда мучают незнакомые люди.

— Минутку, минутку, — опешил надзиратель. — Но ведь я тебя никогда не избивал, Страуд. У меня даже в мыслях этого не было. Знаешь, почему я избиваю заключенных? Потому что они об этом думают, они ждут этого. — Он всегда видел это, чувствовал, безошибочно угадывал. Наконец-то и этот сломался. Спустя тридцать лет. — Согласись, ты потерпел поражение, Страуд. Сдавайся. Отныне, с этой минуты, я тебя больше не боюсь. Что греха таить, я всегда тебя боялся. И знаешь почему? Потому что читал твои книги и ничего не понимал. Тебе повезло, что ты ускользаешь от меня именно теперь. — И он самодовольно и немного рассерженно приказал конвойным: — Начинайте.

Конвойные набросились на Страуда и нещадно избили его, потому что он сопротивлялся и не подпускал их. Он не знал, чему он так яростно противится, и от этого еще больше выбивался из сил. Чего они хотели от него — ни надзиратель не сказал, ни конвойные. Ведь если бы сказали, он готов был понять их... Хоть бы слово сказали, хоть полслова... Да что с них требовать, ведь и он сам вначале не говорил, не умел сказать нужных слов, он и Гее не сказал их вовремя и тем самым погубил себя. Один из конвойных схватил его за голову, пригнул к земле, другой стал стягивать с него полосатую куртку. Наконец Страуд понял, что им нужно. Они хотели переодеть его — в униформу новой тюрьмы. С огромным усилием он стряхнул с себя двух громил. И сам снял полосатые брюки. Но он вконец растерялся и озверел, когда конвойные подняли с земли ту же одежду и, как новую, стали напяливать на него. На этот раз Страуд сопротивлялся еще яростнее. Переодев Страуда в его же одежду и посчитав дело сделанным, конвойные вышли из камеры. Страуд, обессиленный, сел на постель, поднес платок к расквашенному носу и машинально стал ощупывать лицо.

— Почему ты меня переводишь? — еще не придя в себя, хриплым голосом спросил Страуд.

— Не я перевожу. Король приказал.

— Король? — Страуд вздрогнул и вскочил с места. — Если это он, я никуда не пойду!

— Это не от тебя зависит. Но все-таки интересно — значит, если бы я приказал, ты перешел бы?..

— Потому что от тебя тоже разит тюрьмой. Понять тебя мне не составляет труда. Мы с тобой ненавидим друг друга. Тут все ясно. Но он... Я и он... — Страуд беспомощно развел руками. — Мы не можем быть противниками... это абсурд... Что между нами общего... За эти тридцать лет я ни разу не вспомнил о нем...

— Тем более, не охаивай своего короля.

— Но я не вижу смысла... Это-то меня и настораживает. Какова его цель, надзиратель?.. Он хочет отнять у меня моих птиц?..

— Угадал, Страуд. В новой тюрьме тебе не позволят держать птиц.

— Но почему, почему? — Страуд должен был понять причину, во что бы то ни стало понять. — Это не может быть бессмысленной подлостью. Бессмысленную подлость можешь совершить только ты.

— Ты считал меня ниже себя. Поди теперь с королем повоюй! — злорадно осклабился надзиратель и вдруг, перейдя на шепот, испуганно спросил: — А короля ты сможешь уложить на лопатки?

— Смогу, — уверенно ответил Страуд.

— Не ошибаешься, Страуд? — побледнел надзиратель. — Подумай хорошенько.

— Смогу. Если ты мне поможешь.

— Я? — съезжился от ужаса надзиратель. — Да ты что, Страуд, опомнись. Не припутывай меня, нет!

— Помоги, надзиратель, не пожалеешь! Если я возьму верх над королем, будет и твоя победа. Твоя победа и твоя заветная тайна. Самое счастливое воспоминание в твоей жизни. — Страуд был воодушевлен. Он нашел ключ. Он знал, что слабость надзирателя — разводить философию. — Отныне ты никого не будешь бояться. Ты и меня перестанешь бояться. Ты станешь сильным человеком. Очень сильным. Ты победишь не только короля, но и меня. Потому что мне придется воспользоваться твоей помощью.

— И, может быть, после этого я еще лучше стану служить королю, — неуверенно вставил надзиратель.

— Да, надзиратель. Ты еще больше станешь любить своего короля, — продолжал с жаром Страуд, — потому что будешь знать, что победил его. И никто ничего не узнает.

— А ты пожизненно заключенный. Тебя нет. Не существуешь. Ты труп! — Глаза у надзирателя заблестели. — Ты не в счет, я полностью застрахован. — Он поверил, что наконец-то он действительно возьмет верх над Страудом. И, воодушевленный этим, спросил нетерпеливо: — Что я должен сделать?

— Помнишь дом, где мы с тобой были?

— Помню, как же. Этот дом чуть не положил конец моей карьере. Мое счастье, что врачи тебя спасли.

— Пойдешь туда, узнаешь адрес женщины по имени Гера, разыщешь ее и приведешь ко мне.

— Только-то?

— Да. От тебя ничего больше не требуется.

— Прямо сейчас и пойду. — Он пошел было к двери, но вдруг что-то вспомнил, вернулся и зашептал Страуду на ухо: — За дверью тебя ждет твой новый надзиратель. Это ничтожество смотрит на меня свысока, потому что его тюрьма самая ужасная во всей стране.

За долгие годы заключения Страуд прочел множество ненужных книг, у него появилась масса ненужных познаний, куча ненужных сведений. Все это беспорядочно, балластом накапливалось у него в памяти. Так, например, он на зубок знал историю права. Во время разговора с надзирателем ему вспомнился один закон, и он решил непременно его обыграть. Дело в том, что территория этого штата некогда принадлежала Франции. Законы для жителей этой территории были учреждены известным парижским договором. Положения договора безусловно обязана была принять любая страна, в чье владение входил штат.

Страуд быстро нацарапал что-то на листе бумаги и стал ждать Геру. Он убеждал себя, что волнуется перед предстоящей встречей. На самом же деле никакого волнения не было. Было просто нетерпение. Если бы Гера пришла в другой раз, у него бы непременно от волнения колотилось сердце. Но сейчас им владел один лишь неистовый азарт. Гера для него сейчас была орудием, с помощью которого он должен был одурачить короля и расстроить его планы, пока что Страуду не до конца ясные. Ничто сейчас для него не имело значения — ни Гера, ни даже весьма конкретная угроза быть переведенным в другую тюрьму, что лишило бы его возможности работать. Важно было одно — одолеть короля, вслепую помешать ему. Самым главным сейчас была эта абстрактная победа. Его глаза блестели от предвкушения близкой игры, руки лихорадочно дрожали, и от напряженности перехватывало дыхание.

Неожиданно в камеру вошла и замерла на пороге — Гера. Казалось, она несколько даже подурнела от волнения. Ей хотелось сказать сразу очень многое, но она только пробормотала:

— Прости меня.

— За что?..

— Я тогда действительно ждала тебя... в порту...

— А те десять минут... что я просил тебя...

— Ждала...

— Я в тот день был очень счастлив, Гера... Гера не имела того блеска, что в тот вечер, она была в черном плаще, из-под которого виднелся домашний халат. Торопилась, верно. Волосы небрежно заколоты. И запаха духов не слышно. Сегодня она была обычной женщиной, такой реальной в этих мрачных и бесцветных стенах. Желанной и доступной.

— Когда я узнала, когда этот человек рассказал мне обо всем... — Гера ломала пальцы. — Все так усложнилось... так запуталось... И в то же время все стало до того ясно и просто, что, видишь, я могу вот так стоять перед тобой, могу, не стесняясь, сказать человеку, которого и получаса не видела, — я тебя люблю...

— Гера, не надо... — испугался Страуд. — Если ты будешь продолжать, я пропал... Если скажешь хоть одно еще слово... я не смогу сопротивляться, не смогу не слушать тебя... Ведь я тридцать лет ждал этих слов...

— А зачем тебе быть крепким и зачем мне быть крепкой? Для кого? — В глазах Геры показались слезы.

— Гера... я вызвал тебя для другого... прости меня... Я вызвал тебя по делу... — Страуд пытался быть по возможности сухим. — Ты можешь принести мне жертву?..

— Да.

— Вот так, не задумываясь?

— Да.

— И никогда в жизни не пожалеешь?

— Никогда.

— Никогда не обвинишь меня?

— Никогда.

— Я должен просить тебя об одной вещи. Я знаю, у меня нет на это никакого права, — все более нервничая, сказал Страуд. — Я первый себе не прощу этого... Жертва, которая для тебя не имеет смысла. — Он напрягся всем телом, на лбу у него выступил холодный пот. И потекли слова, и он отдался их течению полностью: — Я качусь вниз, Гера. С горы. С ужасающей быстротой. И не могу остановиться. Я даже самого дорогого человека способен сейчас затоптать без всякой пощады. Ты слышишь, какие гнусности я говорю. Но я не уйду из этой тюрьмы. Не отдам своих птиц... Если ты настолько сентиментальна, погибай. Так тебе и надо... Все равно я должен оставаться твердым. Пусть меня погубит именно это. Но я не сдамся. Даже если...

— Говори, Страуд, — спокойно прервала его Гера.

— Выходи за меня замуж, — агрессивно потребовал Страуд.

— Замуж?..

— Никаких вопросов, Гера, — грубовато перебил Страуд. — Выходи замуж, ты уже обещала. Не отказывайся от своих слов.

— Не отказываюсь, Страуд, нет. Но... как?

— Про парижский договор когда-нибудь слыхала? — с нервным воодушевлением стал объяснять Страуд. — Эта земля, на которой мы находимся, принадлежала раньше Франции. Суть договора в том, что законы Франции остаются на этой территории неизменными, под чьей бы властью территория ни находилась. Гера, выходи за меня замуж. По этому договору, в нашем штате брак считается законным, если мужчина и женщина дают письменное объявление... Значит, мы нашу женитьбу можем оформить, не спрашивая разрешения властей. Выходи за меня замуж! Гера... Если ты согласишься и я стану женатым человеком, исходя из этих же законов, меня уже нельзя будет перевести в другую тюрьму...

— Я согласна, Страуд.

— Гера... ты пожалеешь... — вдруг сник Страуд. — Моя победа никому не нужна... Даже мне, наверное, не нужна. А вот тебе очень нужно счастье... Ты могла бы выйти замуж... у тебя был бы свой дом... семья... дети...

— Пиши, Страуд, не теряй времени.

— Гера, я не знаю, как с тобой разговаривать... — Страуд был в полнейшей панике. Победа казалась ему сейчас далекой и бессмысленной. — Если быть циничным, это будет в мою пользу... Я заставлю тебя, и ты подпишешь... Если же быть честным, уговаривать тебя;

чтобы ты не подписывала, это опять-таки будет в мою пользу... ты еще быстрее подпишешь. — Его закрутил созданный им же водоворот, он почувствовал, что тонет. — Да ведь даже эти мои слова, то, что я сейчас говорю, даже это в мою пользу... Нет, Гера, наверное, я слишком хочу, чтоб ты подписала.

— Не суетись, — мягко упрекнула Гера. — Ты обещал быть твердым. Пиши.

И тут Страуд услышал свой голос:

— Уже... готово...

Гера мгновение вопросительно смотрела на него. Только одно мгновение. Страуд еще больше растерялся от этого короткого взгляда. Из него словно выпустили воздух, и он, поникнув головой, сказал:

— Я повел себя по отношению к тебе нечестно... Я даже подписал уже... До твоего согласия...

Гера взяла бумагу из его рук и быстро поставила свою подпись. А для Страуда все уже было безразлично. Его единственным желанием было остаться одному.

— Как хорошо, Страуд, что я подписала, — улыбалась Гера. — Знаешь... была секунда... сейчас я счастлива... поверь мне... Сейчас уже от меня ничто не зависит, это не обычное счастье, Страуд... какое-то особое счастье...

Они молча стояли друг против друга.

Будешь ли ты ее господином до самой смерти? И ты — будешь ли послушна ему до самой смерти? И если придет болезнь, беда и неудача... несчастье, ссылка... То, что соединил господь, да не расстроит человек.

Молча стояли они друг против друга.

— Прощай, Страуд...

— Прощай... Иди, Гера...

Гера молча вышла из камеры, Страуд вздрогнул, потому что она плотно затворила дверь. Он долго смотрел на закрытую дверь. Через несколько минут в эту же дверь вошел надзиратель.

— Я все слышал, — улыбнулся он. — Я восхищен. Я завидую. Согласно законам нашего штата, женатого человека никто не может перевести из тюрьмы, — и он радостно потер руки. — Мы победили, Страуд. Прямо даже не верится. Мы победили, точно. — Он был так возбужден, что даже шутливо толкнул Страуда в бок. — Ловко же ты провел нас. Меня и эту бабенку. Ну и глупая же была женщина.

— Не смей! — завопил во весь голос Страуд. — Измочалю тебя, убью! Слышишь, убью! Она моя жена перед лицом бога и закона. Моя жена.

И он заплакал.

— Ты что, Страуд, что с тобой?.. — опешил надзиратель. — Ведь ты победил...

Страуд плакал. Не сдерживаясь. Во весь голос.

ФАКТОГРАФИЯ

Гера с молниеносной быстротой распространила по всему миру историю заключения Страуда. Повсюду с Удивлением и ужасом люди узнавали, что всемирно известный орнитолог десятки лет томится в тюрьме. В той самой

тюрьме, которую по удивительному стечению обстоятельств через несколько лет займут индейцы, исконные хозяева этих земель. И хотя они продержатся всего несколько дней, тем не менее благодаря этой недолго-вечной победе они тоже сумеют поведать всему миру свое. Юридически мертвый, этот человек, пронумерованный этот узник, был первым и единственным заключенным в истории Алькатраза, который посмел вступить в поединок с властями. Одно только его имя наводило страх на тюремное начальство и вызывало бессильный гнев. Писать о заключенных в стальных клетках было еще более предосудительно, нежели писать о птицах в металлических клетках. Труд Страуда о тюрьме, состоящий приблизительно из ста тысяч слов, заключал неизвестные факты, о которых могли знать только сами заключенные и администрация тюрьмы. Книга написана была иронично, с жестокой искренностью. Это всего лишь бред человека, разум которого помутился в тюрьме, говорили враги Страуда. Разве может это представлять какой-либо интерес для общественности? Страуд не обращал внимания на подобные высказывания. Он писал о том, что видел. Его научные книги давным-давно были распроданы. Необходимо было переиздать их, а это означало, что Страуд сам должен был заново отредактировать и дополнить прежние издания. Но издатели, обратившиеся в федеральное бюро тюрем, получили ничем не мотивированный отказ. В 1949 году вице-президент международной ассоциации орнитологов обратился к Страуду с письмом, в котором спрашивал его совета в связи с одним сложным птичьим заболеванием. Письмо вернулось нераспечатанным. Вице-президент в качестве протеста отправил администрации тюрьмы труп мертвой птицы. «Рие кажется ли вам, что я слишком долго живу в тюрьме, и это становится... однообразным», — сказал однажды Страуд министру правосудия, совершавшему турне по тюрьмам, находившимся в его ведении. Министр на вопрос не ответил и вместо этого сам задал ему несколько незначительных вопросов. И пожурил его за то, что он обратился за помощью к общественному мнению, чем причинил руководству тюрьмы лишнее беспокойство. Действительно, общество волновала судьба Страуда. Во всех уголках земли поднимались голоса протеста, создавались специальные комитеты за его освобождение, устраивались демонстрации, все передовые газеты земного шара в один голос требовали освободить выдающегося ученого. Но это движение никак не облегчало участь Страуда. Он сам себя приговорил — к борьбе с непобедимой и неравной силой. И он не мог сойти с избранного пути. «Но он свободен, — любил иронично заметить сильные мира сего, — какое имеет значение факт его заключения, главное, чтобы человек сам чувствовал себя свободным, мало ли людей, разгуливающих на свободе и чувствующих себя как в тюрьме». На что же надеялся сам Страуд? Умудренный жестоким опытом немолодой этот человек надеялся, что при рассмотрении его дела будут учтены следующие обстоятельства: он никогда не нарушал тюремных правил... В его личном деле нет ни одного замечания... Он дал государству миллионные суммы прибыли...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Король состарился. Состарился и Страуд. А игра между тем не была завершена. Они родились в один и тот же год. В один и тот же год была решена их участь. Один стал королем, другой — узником. Две эти противоположные судьбы скрестились, сплелись и были уже неразделимы. Король каждый год в день своего рождения требовал принести ему последнюю фотографию Страуда и прятал ее в своем письменном столе. Иногда он тайком вытаскивал эти фотографии и долго разглядывал их, внимательно сравнивая последнюю с предпоследней. И чем больше он старел, тем чаще повторял эту процедуру. Говорят, в нагрудном кармане он хранил еще одну фотографию, чью — неизвестно, потому что ее никто не видел. Многозначительно шептались, что в большой приемной под фотографией отца спрятана еще какая-то фотография, чья — неизвестно. Никто не видел...

Но ведь своих фото король вроде бы не прятал...

Он думал так: когда-нибудь, рано или поздно, Страуд умрет. И его вопрос сам собою ликвидируется. Но он ужасно трусил, его пугала мысль о том, что Страуд переживет его и, значит, снова оставит в дураках. Во всяком случае, однажды в минуту откровения он мысленно признался себе, что, если ему удастся заставить Страуда умереть, он достигнет своей высшей цели и восстановит границы свободы и несвободы, восстановит авторитет закона и наказания, то есть снова укрепит те основы, без которых его страна не может существовать. И тогда он с легким сердцем запрется в какой-нибудь из дальних комнат дворца, опустит все занавески и вдали от людей, оставшись наедине с собой, вволю поплачет. О чем обязан будет тут же забыть.

— Ну? — мрачно спросил он первого министра.

— Началась вторая мировая война, ваше величество.

— Мы тоже участвуем? — испугался король.

— Нет. Англия, Франция, Россия...

— Германия небось начала? Так я и знал. И давно все это происходит?

— Уже год, ваше величество.

— Ничего. Пускай пока сами разбираются. Мы дальше всех от Германии. Пусть судьба будет справедлива к нам хоть немножко. А королю Германии в знак уважения отправь мое фото с автографом. Еще? — И как итог своих печальных размышлений он захотел в лице первого министра увидеть то человеческое качество, к которому сам не имел права стремиться. — Ну ладно, не надо. Ты с этой минуты больше не первый министр. Я решил сменить тебе должность.

— Неужели ваше величество недовольны мною? — изменился в лице первый министр.

— Я хочу назначить тебя министром откровенности. В конце концов, должен же быть на свете хоть один человек, который не побоится сказать мне в лицо всю правду! — взорвался король. — Ведь существуют возраст, годы, когда это становится просто необходимостью.

— Но, ваше величество... разрешите указать на одно несоответствие... Мы слишком долго работаем вместе.

— И слишком долго оба лжем. Знаю. Но у тебя есть два достоинства. Во-первых, ты раболепен, и, если будет мой приказ, ты мгновенно заоткровенничаешь. Во-вторых, ты труслив. Если я назначу тебя министром откровенности, ты со страху не сможешь быть неоткровенным.

— Благодарю вас, ваше величество! — растрогался первый министр. — Я постараюсь оправдать ваше доверие.

— Ну, министр откровенности, слушай мой первый вопрос. Я хорошо руковожу моей страной?

— Разрешите не отвечать, ваше величество. Более откровенным быть невозможно.

— Мои подданные любят меня?

— Этот вопрос никогда не должен вас интересовать, так как если мой король испытывает потребность в любви, значит, он уже не чувствует себя сильным, как прежде. Исключите эту потребность, ваше величество.

— А поединок между мною и этим птичником, чем он, по-твоему, завершится, кто возьмет верх?

— Безусловно, вы, ваше величество.

— Ну-ка, ну-ка, — оживился король, — почему?

— Потому что вы очень опасный и коварный человек. И за вашими странностями, кажущимися безобидными, прячется ужасный и жестокий деспот.

— Ты не представляешь, до чего же мне приятно слушать твои слова, — расцвел в улыбке король. — Ты словно делаешь мне массаж.

— Но пока держит верх он, ваше величество. Вы захотели отнять у него его птиц и перевести в другую тюрьму, вы думали убить его этим, а он не только не умер, но и одурачил вас.

— Но сейчас я снова нашел выход. И на этот раз беспрюиришный.

— Не сомневаюсь, ваше величество. Этот орнитолог честный человек, ему не выстоять перед вашим коварством.

Король знал, что Страуд завалил его план с помощью книг и безукоризненного знания законов. И тогда он последовал примеру Страуда и тоже обратился к книгам. Он проштудировал труд Страуда о тюрьме, прочитал всю существующую юридическую литературу и наконец набрел на нужную строку. Ужасная ошибка, которую допустил суд пятьдесят лет назад. Неслыханное беззаконие потрясло даже его черствую душу. Страуда не имели права заключать в одиночную камеру. Он скажет об этом Страуду. И от этого известия у Страуда разорвется сердце. Но почему снова явилась его мать и почему она целую неделю упорно дожидается приема? Весьма несвоевременный приход... А впрочем... Король приказал впустить ее. Мать вошла, с достоинством поклонилась.

— Я мать Страуда, ваше величество.

— Помню, помню. Я знаю всех жителей своей страны. По имени и фамилии. Знаю все их заботы и боли. Между прочим, слабое место моего врага, короля соседней страны, именно в том, что для него масса — все, а личность — ничто. Но ведь существует элементарная истина: масса состоит из отдельных индивидуумов. Министр откровенности, запишите это мое высказывание, распространите. — И он снова с любезной улыбкой обратился к матери Страуда: — Я предпочитаю поговорить о политике с такими простыми, как вы, людьми, а не с моими министрами-тупицами. К сожалению, время не позволяет... Может быть, вы уже получили ответ на ваш вопрос и хотите попрощаться со мною?

— Нет, ваше величество, — не поддалась мать. — Мой сын женился, не спросив моего согласия, Я против этой женитьбы.

— Любовь толкнула его на этот шаг, мадам, любовь... — опешил король.

— Я прошу запретить этой женщине посещать его.

— Но почему? Я не могу принимать несправедливые решения. Я должен быть убежден в своей правоте.

— Я столько лет боролась за сына, — оскорбленно сказала мать. — Я все распродала и сажу на пепелище. И это его благодарность?

— Какая благодарность, мадам? — Король не мог сориентироваться. — Придите в себя. Разве матери нужна благодарность?

— Вы тоже должны ненавидеть эту женщину, ваше величество, — решительно сказала мать. — Это она распространила по всему миру, что знаменитый орнитолог Страуд — узник.

— Я прощаю ее.

— Я требую запретить им переписываться.

— Ваш сын действительно великий ученый, мадам. Гордитесь им. Я до земли склоняюсь перед его гением. — Король не знал, презирать ему эту старуху или же остерегаться ее. — Я ежедневно получаю сотни прошений со всех концов земли. Все в один голос требуют освободить Страуда. Вы представляете, в какое положение поставил своего короля ваш сын? Тем не менее я восхищен его волей. А вы... в таком большом деле выдвигаете какие-то мелкие, житейские счеты... невестки и свекрови... Вы ведь даже не видели друг друга и никогда не будете жить вместе, под одной крышей... Мои симпатии целиком на стороне вашего сына... А ведь я первый враг вашего сына...

— Можно подумать, вы печетесь о нем больше, чем я, — посмела оборвать короля мать. — Я пришла к вам ради его же блага. Он не может быть счастлив с этой женщиной.

— Оставьте эту болезненную ревность, ради бога. Слышать этого даже не хочу. Идите и боритесь против меня. Знайте, что для короля нет никого опаснее, чем мать Страуда. Идите же, я все сказал, я открыл вам свою тайну.

Мать молча направилась к дверям.

— Может быть, вы заплачете? — спросил король. — Я требую, чтоб вы раскаялись.

Мать остановилась у дверей, но не обернулась. Лицо сухое, непроницаемое.

— Минутку! — вспомнил что-то король, — Вы моего шофера знаете?

— Вашего шофера?.. Почему это я должна его знать?..

Мать вышла из приемной и тотчас была окружена большой толпой журналистов. Защелкали фотоаппараты. Мать, казалось, даже стала позировать перед объективами. Во всяком случае, она машинально провела рукой по волосам. Со всех сторон посыпались вопросы.

— Мадам Страуд, мы слышали, начинается новое движение за освобождение вашего сына?

— Мне нечего вам сказать.

— Мадам Страуд, а правда ли, что на этот раз движение возглавляет его жена? Как вам кажется, сумеет она вырвать мужа из тюрьмы?

— Мой сын находится там, где ему следует быть, — холодно ответила мать. — Лично я не предприму ничего, чтобы освободить его.

— Надо ли это понимать так, что вы предпочитаете, чтобы ваш сын оставался в тюрьме?

— Да, я считаю, что так для него будет лучше.

И, не оглядываясь, горделиво подняв голову, она пошла к выходу и скрылась с глаз.

— Смешала все планы! — отирая пот с лица, простонал король. — До чего несвоевременно явилась! Но как она пронюхала про мои планы? Ведь я только своему шоферу рассказал...

— Но какая связь между вашим шофером и этой старухой? — позволил себе спросить министр откровенности.

— Ты не знаешь, не знаешь их! Эти так называемые простые люди — у них молчаливый союз друг с другом.

— А что вы задумали, ваше величество?

— То, что я задумал, настолько безошибочно, что я не чувствую надобности советоваться с тобой. Через несколько дней ты сам в этом убедишься.

Король так и не сумел выяснить (шофер, конечно, отпирался) — мать Страуда в самом деле узнала про его планы или же это была выходка самолюбивой и ревнивой старухи. Ему стало известно, что она покинула столицу, поселилась у своих дальних родственников и через несколько месяцев скончалась в возрасте девяноста лет; как бы то ни было, если ей был известен его план, она совершила гениальный шаг. Если же был неизвестен, все равно — ее появление перед журналистами усложнило дело короля. Как же он мог осудить совершившееся пятьдесят лет назад беззаконие, если сама мать узника была обратного мнения и публично заявила об этом.

— Все равно я одолею его, — не сдавался король.

— Безусловно, ваше величество. Вы большой злоумышленник, вы ни перед чем не остановитесь.

— У меня от твоих слов прямо мурашки по спине бегают. — И король с удовольствием, по-домашнему потянулся.

— Ваше решение, что он должен умереть своей естественной смертью, гениально по своей низости.

— Ничего другого не остается. Поскольку мы не смогли уничтожить его и не смогли освободить.

— А почему вы меня не наказываете, ваше величество? — вдруг прорвало министра откровенности. — Почему вы терпите мою откровенность? Что я вам, чучело, что ли? Я требую наказания! Я знаю, вы назначили меня министром откровенности, потому что больше всех презираете меня! Но вы об этом пожалеете!..

— Значит, достаточно тебе было сказать два-три откровенных слова и ты уже почувствовал себя человеком? — удивился король, потом задумался и долго, очень долго молчал.

— Убийца! — разъяренно орал министр откровенности. — Коварный лгун! Я ненавижу тебя! Все тебя ненавидят!.. Низкая личность!.. Бесплодная тля!..

— Я ведь говорил, лучшего министра откровенности мне не найти. — Король дружески хлопнул его по плечу. — Браво.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Очередное заседание комиссии по помилованию состоялось в самом большом зале дворца, там, где обычно проходили карнавалы. Король сидел возле стены в высоком кресле. Он был в синей рабочей одежде, потому что пришел сюда прямо из сада. Он любил по утрам собственноручно заниматься цветами. Он сознательно не сменил одежду. Если бы его спросили, почему он так сделал, он не смог бы дать определенного ответа, но он был уверен, что так нужно. Точно так же, интуитивно, был выбран этот громадный зал. Король часто покусывал ноготь большого пальца — жест, чрезвычайно любимый народом. Сегодня был решающий день. Король разрубит узы, связывающие его со Страудом, выкинет к черту все его фотографии, порвет их на мелкие клочки, бросит в огонь. В зале, кроме короля и Страуда, находились министр справедливости, министр трудных ситуаций и министр особо тонких дел. Они сидели в разных углах зала, лицом к стене. Словно не имели никакого отношения друг к другу и попали сюда совершенно случайно. В отличие от короля все трое были одеты строго официально и даже со всеми знаками отличия и наградами. Изрядно постаревший Страуд стоял в центре зала. Он не видел короля и министров, так как стоял лицом к дверям. Он был в костюме, из-под которого виднелась полосатая тюремная куртка.

— Заседание комиссии по помилованию объявляю открытым, — сказал король и обратился к спинам министров: — Я ведь правильно выразился? — Потом скучающе прибавил: — Страуд доставил нам немало хлопот. Давайте сегодня раз и навсегда покончим с этим вопросом.

Раздались восхищенные голоса трех министров:

— Мы почитатели твоего таланта, Страуд.

— Мы завидуем тебе.

— Ты счастливый человек.

— А почему мы так странно расположены, ваше величество? — с осторожностью спросил Страуд.

— А это для того, чтобы мы, оскверненные мирской грязью, смогли бы быть по возможности беспристрастными, — любезно пояснил король. — Ведь если мы будем сидеть лицом друг к другу, мы сможем переговариваться взглядами. О, я представляю, какие сейчас эмоции выражает твое лицо. Этого нам тоже не следует видеть.

— Благодарю вас, ваше величество, — неуверенно сказал Страуд.

— Комиссия по помилованию независимо от своего решения должна заранее знать, чем станет заниматься заключенный, что он станет делать, если ему даруют свободу. Мы должны убедиться, готовы ли вы к свободе, Страуд.

— Я организую лабораторию, — деловито ответил Страуд. — Своего рода учебный и научно-исследовательский институт, где будут заниматься изучением проблем генетики птиц, их психологии, патологии и терапии...

— Не знаю почему, но мне кажется, что, если ты получишь свободу, ты забросишь птиц, — так же деловито заметил король. — Если ты лишишься своей привычной атмосферы, ты больше не сможешь творить.

И снова раздались восхищенные голоса трех министров:

— Мы читали все твои труды еще в рукописном со стоянии, у тебя замечательный почерк, Страуд.

— Нам знаком твой двухтомник, посвященный тюрьме. Прекрасная работа, Страуд. Жалко только, что все это об Алькатразе.

— Мы восхищены. С каким мастерством ты обличаешь нас! Жалко только, что нас.

— Дальше? — спросил король. — Чем бы ты еще занялся, Страуд? Наукой ведь все не кончается.

— Мы с Герой будем жить в маленьком тихом городке... — после небольшой паузы взволнованно заговорил Страуд. — Мы построим свой дом собственноручно... на высоком холме... у всех на виду... Мы побелим его, чтобы он был виден и в темноте... Мы научим всех таких же, как мы, обездоленных силою урывать свою долю счастья... Мы заставим их вызубрить на зубок наш урок... — Он говорил задыхаясь, со страстной верою: — У нас будет много

детей... мы усыновим. Мы научим их трудолюбию, честности, благородству. Мы не злом, а вот так ответим на перенесенные унижения и муки.

— Пятьдесят лет назад ты говорил те же слова другой женщине, — напомнил король. — И звучали они тогда столь же убедительно и искренне. Как это понять?

Страуду словно дали пощечину. Он не помнил. Он мучительно напряг память и все равно не вспомнил. Он понял, что король говорит о чем-то очень жестоком, и увидел, что король прав. Он поглядел со стороны на воодушевленного узника и снисходительно улыбнулся ему.

— Забыл, ваше величество... Я виноват перед этими двумя женщинами. Потому что в каждой из них я видел только себя...

Послышались восхищенные голоса трех министров:

— Твой монолог — пощечина нам...

— Жалко только, что нам...

— Да, нам...

— Я глубоко сожалею, Страуд, что мы не можем даровать тебе свободу, — перешел наконец к самой сути король, — И знаешь, по чьей вине? По моей, — смущенно признался он. — Ведь я уже раз помиловал тебя. Суд приговорил тебя к смертной казни, а я заменил это пожизненным заключением. Хоть бы я тогда не делал этого, Понимаешь? У меня нет права вторично помиловать тебя.

— Почему же вы меня сюда вызвали, ваше величество? — упавшим голосом спросил Страуд.

— Я внимательно перелистал дело Страуда и убедился, что пятьдесят лет назад произошла серьезная ошибка, полвека назад имела место одна из величайших шуток в истории правосудия. Суд не имел права приговаривать Страуда к одиночному заключению.

— Но я просидел в одиночестве пятьдесят лет... — изумленно пробормотал Страуд. — Согласно решению суда...

— Понимаю, Страуд. Это жестокий факт. Прискорбный. И ты, конечно, считаешь, что если уже просидел пятьдесят лет в одиночке, то это законно.

И снова послышались восхищенные голоса трех министров:

— Но существует справедливость, Страуд!

— Она есть, Страуд!

— Существует правда, Страуд, и ее никуда не спрячешь!

— Я убил человека! — крикнул Страуд, тревога его возрастала еще и потому, что он не видел лиц собеседников. — Мне полагалось самое тяжкое наказание...

— Кого же мне наказать, Страуд, — жалобно сказал король. — Тот судья умер. Присяжных тоже нет в живых. Ну сам посуди, кого мне наказывать. Как мне расхлебать всю эту кашу...

— Но я не обращался к комиссии... — искаженный голос Страуда отозвался эхом. — Почему вы разбираете мой вопрос, кто вас просил трогать меня?!

— Ты не обращался к нам. Зато обращались другие, твои защитники. А знаешь, какая это ответственность для твоего короля? Как это угнетает?

— Я понес свое наказание... Я заслужил его... — потеряв самообладание, Страуд поворачивался то к королю, то к министрам, вернее, к их спинам. — Никто не имеет права лишать меня этого наказания задним числом... — И он обреченно закричал: — Все было правильно! Никакой ошибки не было!..

— Не смотри на нас, Страуд, не смотри, не смотри, — испуганно попросил король.

— Напротив, со мной еще мягко обошлись... — Страуд в панике перебежал от министра к министру и заглядывал им в лица. — Дали возможность заниматься наукой... — Он вынужден был обратить свое единственное счастье в обвинение: — Я вас спрашиваю... в конце концов, это тюрьма или санаторий?..

— Повернись... не смотри на нас, Страуд... ради бога... это запрещается...

— Я совершил преступление!.. — Страуд вдруг обратил внимание на то, что зал слишком, чересчур велик и потолки немислимо высокие. — Я считаю понесенное мною наказание справедливым... Это я должен считать, я, а не вы... мое мнение важно, не ваше...

— Не понимаю, почему ты так кипяتيشся? — настало время, чтобы взгляд короля выразил недоумение. — Ведь мы в твою пользу говорим. И если есть кто-то, кому не на руку юридическая эта ошибка, так это именно я.

— А почему вы вдруг вспомнили о ней, ваше величество? Зачем вам это понадобилось? Вы хотите отнять у меня то, чего я сам достиг... Мою свободу... Мою независимость... Понимаю... Хотите раздавить меня своим сообщением. Чтоб я не выдержал... Чтоб у меня от горя разорвалось сердце...

— Стыдно, Страуд, — укоризненно сказал король. — Разве королю трудно было убить тебя до сих пор? Если бы я захотел, тебя бы давным-давно не было в живых...

— Даже моя мать, даже она была против помилования, — у Страуда вдруг заблестели глаза. — Если даже мать заявляет, что место ее сына в тюрьме, чего же больше? Нет, нет, все было правильно, ваше величество... Наказание было правильное. Пятьдесят лет одиночества...

— Мы пересмотрим дело, — невозмутимо сказал король. — Тебя переведут в общую камеру. С опозданием в пятьдесят лет.

— Нет, ваше величество! — Страуд упал на колени. — Не делайте этого... ведь я убийца... Для кого же тогда предназначены одиночные камеры? — Глаза его вдруг снова заблестели, он вскочил с колен. — Если бы я не был в камере-одиночке, птицы бы не залетали ко мне, я бы не занимался наукой и не принес своей стране миллионные прибыли...

— И почему только я усложняю себе дело? — предпочел притвориться непонимающим король. — Если ты так настаиваешь, пусть будет по-твоему. — Он был совершенно сбит с толку, он ведь никак не предполагал, что Страуд разгадает смысл этой его затеи. А раз уж разгадал, значит, напрасны были все усилия, и весь этот разыгранный спектакль теряет смысл. Игра вновь оставалась незаконченной. Но король обязан был найти выход из создавшейся ситуации (если уж на большее его не хватило). — Какое имеет значение, для чего именно мы вспомнили эту ошибку, все равно ты уже знаешь истину. Несправедливый приговор остается несправедливым приговором независимо от того, когда и с какой целью тебе о нем сообщают.

— Да, я уже знаю истину... — вынужден был сдаться Страуд, и поражение его выразилось в том, что он медленно, еле волоча ноги, вернулся и встал на свое место в центре зала, спиной к комиссии, лицом к дверям...

— Я искуплю свою вину. В какой-то мере, конечно... — Король наконец перевел дух, он еле сдерживал свое ликование. Так неожиданно, так нечаянно победить! Но он взял себя в руки и с достоинством распорядился: — Отремонтировать камеру Страуда, стены покрасить в указанный узником цвет, поставить телевизор, провести телефон, пусть говорит с кем хочет, провести также горячую воду, кормить особыми блюдами, меню согласовывать с узником. Подавать к обеду вина. Украсить стены картинами. Оригиналами. Освободить соседние камеры, снести стены, оборудовать там большую лабораторию. По последнему слову техники.

— Не хочу горячую воду!.. — завопил Страуд. — Не желаю...

— Знаешь что, — обиделся король, — если отбывать наказание — твое право, то мое — искупить свою вину. Раз уж на то пошло. Увести заключенного.

Вошли несколько конвойных, схватили Страуда за руки. Страуд вяло сопротивлялся. Конвойные протащили его до дверей и вытолкали из зала.

— Не хочу горячую воду... ваше величество... не хочу...

Наступила тишина. Король снял ботинки, остался в носках, вытянул ноги. Напряжение многих лет отпустило его. Он вдруг почувствовал потребность испытать самые элементарные удовольствия, простые радости, которых он был лишен от рождения: ему захотелось поваляться на траве, громко, не прикрывая рта, чихнуть, пойти в кино, вернуться на трамвае домой, после обеда поковырять спичкой в зубах, подраться на улице с прохожим, в праздничный день смешаться с толпой на площади, встать на цыпочки и вытянуть шею... чтобы увидеть короля. «Завтра в этом зале устроим большой банкет в честь сегодняшней победы и дальнейшего бездействия». До короля вдруг дошло, что у него больше нет никаких дел. А может быть, Страуд тоже, сам того не ведая, отомстил ему? Может, и его теперь ждет та же гибель, что и Страуда, тот же конец?

— Следующий, — мрачно приказал король.

Вошел министр откровенности и впервые в жизни не поклонился королю.

— Этот человек, который когда-то был моим министром, — углубленный в собственные заботы, рассеянно сказал король, — тоже просит наказания. Я как-то по требовал, чтобы он был со мной откровенным. И что же? Он не может простить себе этих нескольких минут откровенности. Я прощаю его, а он себя — нет. Рефлексирует жутко.

— Почему ты погубил меня, ваше величество?.. Разво я плохо служил тебе?.. Или мы не совершали вместе чудовищных преступлений... — и он с мечтательным и отрешенным выражением стал вспоминать прежние славные денечки: — Помнишь, ваше величество? Надеюсь, ты не забыл, что и корону-то свою заполучил с моей помощью?.. Каким прекрасным, каким кровавым был наш путь... Так почему же ты вздумал меня погубить? Для чего заставил быть откровенным?.. Теперь уж мне нет возврата...

— Что верно, то верно, в этом качестве ты мне ненужен.

— Умоляю тебя, ваше величество... Во имя старой дружбы... Не будь грубым, не оскорбляй меня этим, не унижай... Ты ведь сумел тонко повести себя со Страудом, как незаметно ты поставил его на колени... Неужели я не заслуживаю того же обращения?.. Я прошу уважения... Демагогии прошу...

— Прощай, министр откровенности. Я выполню твою просьбу. — Король стал нехотя обуваться. — Ты, безусловно, заслуживаешь уважения. Итак, я не прощаю тебе твоих откровенных слов, тех, что ты бросил мне в лицо. Я обещаю придумать для тебя самое изощренное наказание и преподнести его тебе тоже изощренно и изысканно. Расстрелять!

Министр откровенности бросил победный взгляд на своих бывших коллег, вернее, на их спины, поскольку те по-прежнему сидели в разных углах зала, уткнувшись носом в стену.

— Благодарю, ваше величество...

Он поклонился до земли и вышел из зала.

— Вот и все, — вздохнул король, потягиваясь. — Ну, друзья мои, мне нужен новый министр откровенности.

Три министра так на месте и подскочили и разом повернулись лицом к королю.

— Вы сами им и будьте, ваше величество, — выпалил министр справедливости.

— Сами для себя, — пояснил министр особо тонких дел.

— И мы тоже для себя, — заключил министр трудных ситуаций.

— Не проведете, разлюбезные мои министры... Не выйдет... — В приподнятом настроении король погрозил им пальцем. Потом неожиданно взгрустнул. Потом ему показалось, что он сам перед собой фальшивит и разыгрывает грусть. Впрочем, он и в этом не был уверен. — Но если задуматься, какая страшная, чудовищная штука... человек неожиданно узнает, что незаслуженно провел пятьдесят лет, — пятьдесят, слышите, в одиночестве, не видя человеческого лица, в то время как могло быть иначе. Я бы, например, не вынес такого известия...

Потом он достал из нагрудного кармана какое-то фото и долго с грустью разглядывал его. И ему показалось, что на этот раз грусть его неподдельна. Впрочем, только показалось, особой уверенности не было.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Камера Страуда превратилась в опрятную комнатку с телевизором, с телефоном, с горячей водой, которой он так никогда и не пользовался. Камеру обставили современной мебелью. На стенах, вперемежку с клетками, висели полотна известных художников. Оригиналы, как и было сказано. Страуд только раз включил телевизор и с большим удовольствием посмотрел всю передачу от начала до конца. Именно поэтому он больше к нему не прикасался. Только раз поговорил по телефону: он набрал первый попавшийся номер, услышал совершенно незнакомый голос и сказал с волнением: «Сегодня вечером не садитесь пить чай без меня». Это могло стать прекрасным времяпрепровождением. Именно поэтому он больше не звонил по телефону. Соседние камеры освободили, перс-городки между ними снесли, и вскоре Страуд получил лабораторию, оборудованную по последнему слову науки и техники. Он поболтался в этой необъятной лаборатории, поразился, восхитился

и убедился, что это и было предметом его мечты. Он был уверен, что будет творить здесь чудеса. С воодушевлением приступил к работе. Но ничего не вышло. Мозг его словно отключился. Несколько дней он предавался безделью. С раннего утра до позднего вечера, заложив руки за спину, он вышагивал по громадной лаборатории. Самое ужасное было то, что вышагивал он не медленными, а быстрыми шагами. Он понял, что его притягивает прежняя маленькая камера-одиночка, пятидесятилетняя его обитель. Именно здесь он снова сел за работу. Он продолжил опыты над своими птицами, а к тем, что специально были привезены и помещены в лаборатории, он даже не приблизился. Да и результат этих опытов вновь заслуживал внимания, Но именно эти успешные опыты его и опечалили. Он инстинктивно почувствовал, что силы его иссякли. Хотя работы было непочатый край. Несколько дней он не прикасался к еде. В полосатой своей одежде он часами неподвижно сидел в центре комнаты, И он понял, что это и есть конец. И поскольку это был конец, он встал, собрал все вещи, всю мебель, все, что было в комнате, и беспорядочно свалил все возле стены. Потом снова сел посреди комнаты и стал ждать. Наконец юный Страуд явился. Они не обнялись, не подали друг другу руки, не поздоровались. Они молчали и, казалось, ждали чего-то теперь уже вдвоем. Старый Страуд с презрением усмехнулся, потому что в комнату вошли одетые в смокинги двенадцать мужчин, у каждого в руках по стулу. Они расселись вдоль стен, образовав некий квадрат вокруг двух Страудов. Старый Страуд вспомнил, что они так и останутся в комнате до самого конца. Молча будут сидеть и мешать им не станут. Корректные и безучастные друг к другу. Иногда только после каждого поворотного слова старого или юного Страудов они будут сдвигать стулья, квадрат будет уменьшаться.

— Что пришел? — спросил старый Страуд. — Я хочу остаться один.

— А я вот захотел попрощаться с тобой.

— Ты надеешься, что будешь жить после меня?

— У меня давно уже нет ничего общего с тобой. Не объединяй нас.

— Ты меня ненавидишь больше, чем я тебя. Хотя должно было быть наоборот.

— Мы, кажется, впервые встречаемся. Мне казалось, ты будешь любезнее. Не скрывай... ты многие годы подряд хотел видеть меня. Ведь у тебя не было даже моей фотокарточки.

Двенадцать мужчин пошевелили стульями и устремились к центру комнаты. Квадрат вокруг Страудов стал чуть-чуть меньше.

— Я вынужден был забыть тебя, — спокойно проговорил старый Страуд. — Ты слабый человек, Страуд. И полюбил ты тоже из слабости. Гейя была сильной женщиной. Ты инстинктивно искал у нее защиты. При ней ты сам себе казался

сильным. И человека убил ты опять-таки из слабости. А меня заставил искупать вину. Я вынужден был с трехклассным образованием стать ученым.

— Это я положил всему начало, — возразил юный Страуд. — Ты продолжил.

— Не порть мой последний день, — бесстрастно сказал старый Страуд. — Не торгуйся.

Двенадцать мужчин снова пошевелили стульями. Квадрат еще немного уменьшился. Смокинги? Что за вульгарность.

— Я пришел сказать, чтоб ты выкинул это из головы... — вспыхнул вдруг юный Страуд. — Ты не можешь увести меня с собой... Я сам по себе... Ты сам по себе...

— Я сделал все, чтобы отделиться от тебя.

— Тебя в ловушку заманили, Страуд. Совершенная пятьдесят лет назад несправедливость подкосила тебя, сразила...

— Они оказались искуснее меня, — невозмутимо подтвердил старый Страуд, — иначе и не могло быть. Я был один. Против меня действовала целая машина.

— Но если ты все понял, если ты знаешь правила игры, отчего же ты умираешь? — удивился юный Страуд. Ему показалось, что он нашел самый верный довод, чтобы убедить старика еще немного продержаться.

— Но это истина, Страуд, — то, что решение было несправедливым. Какое имеет значение, что об этом сказали пятьдесят лет спустя. И неважно, с какой целью сказали. Истина от этого не меняется.

Ответ был настолько исчерпывающим, что мужчины снова сдвинули стулья. Квадрат стал уже. И зачем только он привел с собой этих мужчин. Ведь Страуд давным-давно отказался от болезненного воображения этого юноши.

— Ты победил меня, Страуд, — энергично заговорил юный Страуд. — Я принимаю свое поражение. Хочешь, скажу тебе, в чем наша с тобой разница? Я был свободен.

А ты свою свободу завоевал. Я готов всюду засвидетельствовать это. — Он смотрел на старика с мольбой и сам вместо него кивал себе. — Я думал, ты ни о чем не подозреваешь. Я хотел внушить тебе, сказать, что ты много выше меня. Я рад, что ты сам все знаешь. Пусть это станет твоим последним утешением.

— Не делай свою слабость знаменем, — усмехнулся старый Страуд. — Не делай это своим преимуществом. — И решительно отрезал: — Не волнуйся, Страуд, мы с тобой ничем не связаны.

— Скажи, что ты не помнишь Гею, — потребовал юный Страуд.

— Не помню.

— Говори об этом убежденно! — с ненавистью потребовал юный Страуд.

— Не надо меня уговаривать, Страуд. Я в самом деле забыл.

— Не забыл ты! — крикнул юный Страуд. — Не ври...

— Пусть так. Не забыл. Просто меня это больше не касается.

— Гею любил я, — победно сказал юный Страуд. — Это я из-за нее убил человека, не ты. Ты страдал по моей вине. Я виноват перед тремя людьми. Ты — ни перед кем. Ты даже перед собой не виноват.

— Расскажи мне, — вдруг мягко попросил старый Страуд. — Расскажи мне лучше о себе. Что ты делал эти годы?

Мужчины пошевелили стульями, квадрат стал уже. Но почему? Ведь он задал такой невинный вопрос. В комнате ощущался недостаток воздуха. Столько народу и столько вещей, еще бы.

— Я сделался жокеем, — стал рассказывать юный Страуд. — Я всегда приходил первым на скачках. Одна девушка влюбилась в меня и писала мне письма. Сейчас она моя жена. Однажды я упал с лошади и сломал ногу. После этого мы с женой каждое воскресенье идем на ипподром и смотрим скачки. И хотя я давно уже не садился на лошадь, жена любит в разговоре ввернуть, что от ее мужа пахнет конюшней...

— Продолжай, Страуд. — В голосе старика впервые за все время послышалась страсть.

Мужчины во время рассказа юноши то и дело сдвигали стулья, и квадрат вокруг Страудов все более суживался. Воздуха становилось все меньше, дышать делалось трудней.

— Мои ребяташки — других таких не найти — сущие разбойники, чего только не вытворяют, соседи каждый день приходят жаловаться. Жена считает, что я должен пороть их, но у меня рука не поднимается. Я думаю, мы с ней должны сообразить и как-то направить их энергию. Может, ты мне что-нибудь посоветуешь. Что бы ты сделал на моем месте, подскажи что-нибудь... Это самая моя большая забота сейчас... На что направить их энергию?

— Расскажи еще, — попросил старый Страуд. Что-то блеснуло в глазах старика и погасло. — Что-нибудь совсем обычное...

— Мы с женой мирно живем. Да и с чего нам ссориться? А если все же поспорились, значит, с финансами худо или же кредитор явился и долг с нас требует. Ну мы стараемся, конечно, жить экономно — да это уже по женской части. Вот, например...

— А наука, Страуд? — заволновался вдруг старик. — Про науку забыл...

— Наука? Но я и без того был счастлив, — равнодушно сказал юноша. — Да и таланта у меня к науке никогда не было, — и он снова стал наседать и подлизываться. — Я знаю, ты великодушен... Ты очистился от моих пороков, ты само совершенство...

— Не наговаривай на себя, — с симпатией упрекнул его старый Страуд. — И успокойся, у нас с тобой ничего общего.

— И мы никогда не примиримся, верно? — по-детски доверчиво спросил юноша.

— Зачем нам примиряться? — незаметно улыбнулся старый Страуд. — Мы должны хоть немножко не любить друг друга...

— И ты не уведешь меня с собой?

— Нет, ты должен еще жить и страдать, — по-прежнему с симпатией продолжал старый Страуд. — Ты еще не знаешь, что такое настоящее страдание.

— Чем бы ты, Страуд, занялся, если б жизнь повторилась?..

— Я должен оставить после себя хоть какую-то частицу, какое-то воспоминание обо мне должно остаться здесь. И я избираю для этого тебя. Значит, тебе и решать, чем бы я занялся, если бы жизнь повторилась...

— Я буду как ты, — искренне сказал юный Страуд. — Обещаю тебе, я сделаюсь тобой, и тебя не забудут...

— А сейчас уходи. Я должен остаться один.

И юный Страуд шепотом, с ужасом и восхищением задал свой последний вопрос:

— Но ты, Страуд... Как ты выдержал?

— Человек — существо смертное, — спокойно ответил Страуд. — Но никакая сила не может сделать его рабом, ни в прямом, ни в переносном смысле этого слова. Если только он сам добровольно не примет рабство. Ступай, Страуд.

Юный Страуд подчинился и молча вышел. Одиночная камера на секунду наполнилась птичьими голосами, потом вдруг сразу стало тихо.

Двенадцать мужчин, которые забыли уйти с юношей, снова пошевелили стульями. Страуд в последнюю минуту догадался, что это была западня, что они с тем и пришли, чтоб остаться до конца. Квадрат резко сузился, стал быстро уменьшаться...